

Д

и

После

Литературный альманах

6

2002

ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
АЛЬМАНАХ

№ 6

ДО  
И

ПОСЛЕ

БЕРЛИН

2002

Авторы,  
члены Клуба литературы и искусства  
при Треффпункте «ХАТИКВА»,  
выражают сердечную благодарность  
руководству Берлинского отделения ZWST,  
господину ИОСИФУ ВАРДИ  
за содействие и поддержку  
в издании альманаха

Редколлегия:  
Леонид Бердичевский,  
Марлен Глинкин,  
Генриетта Ляховицкая,  
Альфред Ходорковский,  
Давид Яновский.

Все права сохраняются за авторами

ISBN 6-89238-004-9

Напечатано издательством NG Verlag  
Tel 030/4442460  
Fax 030/44739165  
www ng-verlag.de

Гиритура текста: Times News Roman Cyr

А  
Б  
В  
Г  
Д  
Е  
Ж  
З  
И  
Й  
К  
Л  
М  
Н  
О  
П  
Р  
С  
Т  
У  
Ф  
Х  
Ц  
Ч  
Ш  
Щ  
Ъ  
Ы  
Ь  
Э  
Ю  
Я

КАРЛ АБРАГАМ  
ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ  
МАРЛЕН ГЛИНКИН  
ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ  
ЕЛЕНА ЕЩЕНКО  
МАЛЬВИНА ЗОР  
МАРГАРИТА ИХ  
ЯНА КУТИН  
СЕМЁН ЛУРЬЕ  
СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ  
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ  
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ  
МИНА ПОЛЯНСКАЯ  
ВИКТОРИЯ ПУГАЧЕВСКАЯ  
ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ  
АННА СОХРИНА  
ЛЕОНИД СЫСОЛЕТИН  
ВЕРА ФЕДОРОВА  
ГЕОРГИЙ ХЛУСЕВИЧ  
АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ  
БОРИС ЧЕРЕПАШЕНЕЦ  
МАРК ШЕЙНБАУМ  
УЛЯНА ШЕРЕМЕТЬЕВА  
ГЕНРИХ ШМЕРКИН  
МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН  
ВЛАДИМИР ЯГМАН

# КАРЛ АБРАГАМ

## ВЫБОР

*Виктору Ушакову – прекрасному товарищу  
и анестезиологу милостью Божьей*

Мария впервые переступила порог церкви. Она пришла с шестимесячной девочкой на руках тайком от мужа. Вместе с ней пришла её подруга и двоюродный брат мужа Слава. Мария посмотрела вокруг, взглянула на образа и несмело перекрестилась. Церковь была пуста. Косые столбы света проникали через высокие узкие окна и ложились на каменный пол прямоугольными бликами. Прохлада и тишина действовали умиротворяюще. Состояние успокоенности и защищённости передалось от матери ребёнку: дочь, плакавшая по дороге в церковь, умолкла.

О крестинах договаривались заранее. За совершение обряда уплатили вперёд. Нательный крестик принёс с собой Слава. Его записали крёстным отцом, подругу Маши – крёстной матерью. Превозмогая чувство неловкости, Мария приблизилась к алтарю. Рядом, на небольшом возвышении стояла купель. Церемония крещения продолжалась не доли о. Девочку поднесли к купели, батюшка смочил темя ребёнка, произнёс молитву, перекрестил малютку и одел ей на шею освящённый им крестик. Затем он передал девочку крёстному отцу и спросил у матери: «Имячко-то есть у ребёнка?» ...Любашей назвали, батюшка». Священник открыл какой-то грессбук и записал: «30 сентября 1978 года. Крестил девочку, нарекли Любовью». «Ну что же, – сказал святой отец, – поздравляю вас, дорогие мои! Отныне раба Божья Любовь принята в лоно православной церкви». Мария заплакала. «Что же ты плачешь.

дочь моя? Такой праздник, а ты плачешь. Ну расскажи, что тебя гнетёт». «Так ведь эта Люба у меня не первая, батюшка», – сказала Мария. Тяжкие воспоминания недавнего прошлого бередили душу.

Добровольская Мария Никитична – анестезиолог железнодорожной больницы попросила, чтобы её с утра подменили: она торопилась в аэропорт, чтобы встретить свою пятнадцатилетнюю дочь, которая прилетала из Запорожья, где всё лето провела у бабушки на даче. Дочь свою Мария Никитична не видела около трёх месяцев и соскучилась по ней. «Интересно, изменилась ли она за это время? Загорела, наверное...» До первого сентября оставались считанные дни, и мать вспомнила, что у Любаши нет ни учебников, ни тетрадей к новому учебному году.

Расплатившись за такси, она убедилась, что прибыла вовремя. Солнце стояло уже довольно высоко, а туман над аэродромом всё ещё не рассеялся. Як-40 из Запорожья задержался с вылетом и опаздывал. Встречающие – их было немного, человек десять – нетерпеливо поглядывали на часы и до резей в глазах всматривались в небо. Самолёт появился над горизонтом маленькой движущейся точкой, которая становилась всё больше и, наконец, приобрела знакомые очертания. Теряя скорость, самолёт круто снижался. Но что это? Завершая последний вираж, для захода на посадочную полосу, он крылом задел за мачту радиобуя и тут же воспламенился. До земли оставались считанные метры. Не успели колёса шасси коснуться бетонки, как от здания аэропорта в направлении горящего самолёта вырвались две пожарные машины.

Встречающие метнулись к ограде лётного поля, но ворота были закрыты. На просьбы встречающих открыть их охранник ответил отказом. Мария Никитична протиснулась вперёд. Умолчав о том, что среди пассажиров находится и её дочь, она сказала не терпящим возражений тоном: «Откройте, я врач!» Охранник пропустил её. Мария что было сил бежала к горящему самолёту, вокруг которого суетились пожарные. По дороге её догнал военный грузовик, оказавшийся в это время на аэродроме. Поровнявшись с Марией Ники-

тичной, машина затормозила. Из кабины высунулся офицер: „Садитесь, подвезём“. Солдаты, сидевшие наверху, подали Марии руки, и она, упёршись ногой в какой-то выступ кузова, перемахнула через борт.

Пока они ехали, пожарные успели сбить пламя. Из открытых дверей самолёта всё ещё валил густой дым. Все, кто смог покинуть самолёт, стояли безучастно в стороне. Некоторые из них, с поникшей головой бесцельно бродили поблизости.

Среди пассажиров, покинувших самолёт, Любаша не оказалось. Обгоревший лётчик высунулся из окна пилотской кабины и сказал, обращаясь неизвестно к кому: «Там люди»... и отключился. Офицер, оказавшийся военным врачом, вместе с солдатами бросился внутрь самолёта. Мария поспешила за ними. В салоне было дымно и сумрачно. Запах керосина смешивался с запахом горелого мяса. В креслах сидели пристёгнутые ремнями в неестественно застывших позах сильно обгоревшие люди. Свою дочь Мария узнала по хлопчатобумажным трусикам с медвежатами. Вся остальная одежда сгорела. Пальцы рук Любы были скрючены и закрывали лицо. Девочка тихо стонала. «Любаша, солнышко моё, я здесь! Ты слышишь меня?» Стоны доносились со всех сторон. Женщина вблизи, пытаясь высвободить обожжённую ногу, просила о помощи.

Всего обгоревших было десять. Военврач отобрал шестерых наиболее пострадавших. Вместе с солдатами он стал выносить их на носилках и размещать на грузовике. Третьей вынесли Любу. Только тут, на свету, Мария увидела, что стало с её ребёнком. Кожа рук, ног и спины девочки почернела и сочилась кровью. Правая нога обгорела до кости. Живот покрылся кровавыми пузырями. Любаша продолжала держаться за лицо руками: «А что будет с моим лицом, мама?» И так несколько раз, пока их не привезли в больницу. Тут сознание покинуло девочку.

Обгоревших привезли в железнодорожную больницу, туда, где работала Мария Никитична. Эта больница считалась лучшей в городе и была к тому же ближайшей к аэропорту. Пятерых пострадавших положи-

ли в отделение интенсивной терапии. По просьбе Марии Никитичны Любу поместили в отдельную палату. Пришёл заведующий отделением, Владимир Степанович Угрюмов, ввёл катетер в подключичную вену и подсоединил капельницу. Мария Никитична знала, сейчас дочери введут в дыхательное горло трубку и соединят её с аппаратом искусственного дыхания... Из глубины памяти выплыло слово «напалм», пылающие хижины, обожжённые дети – знакомые кадры кинохроники. На распределении Марию направили в ожоговый центр – назначение, от которого все отказывались. Она вспомнила болезненные, изнуряющие больных перевязки, длительное заживление ожогов, синегнойную палочку – злейшую спутницу ожоговой инфекции, сведенные рубцами конечности, обезображенные ожогами лица. Она помнила всех ожоговых больных, которые, несмотря на усилия врачей и сестёр, потихоньку угасали и в конце концов уходили из жизни. Мария Никитична внутренне содрогнулась: «Зачем всё это? Не хочу!» Зашла медсестра с бутылкой какой-то жидкости, чтобы подсоединить её к капельнице... Затем появился Угрюмов. Впереди себя он катил аппарат искусственного дыхания. Мария Никитична хорошо знала Владимира Степановича. Они давно работали вместе и понимали друг друга с полуслова. Мария притормозила движение аппарата. Глаза их встретились: «Всё напрасно, Володя, не нужно, прошу тебя! Ты же видишь, она агонизирует». После этого в любинной истории болезни появилась такая запись:

«13.20 Мать ребёнка от интенсивной терапии и интубации с подключением аппарата принудительной вентиляции лёгких отказалась. Решено поддерживать состояние наркотического сна путём введения фентанила и дроперидола. Зав.отделением Угрюмов».

Через тридцать минут Люба, не приходя в сознание, умерла.

Константин Петрович Добровольский, муж Марии Никитичны, работал в горкоме партии. Узнав о катастрофе в аэропорту, он вызвал служебную машину и поспешил в больницу. В приёмном покое к нему подошла старшая сестра: «Подождите, Мария Никитична

не может пока к вам спуститься». Минут через сорок к нему вышла жена. Мария шла опустошённая, по-старушечьи едва передвигая ноги. Лицо её не выражало ни ужаса, ни боли. Лишь углы рта опустились. Константин Петрович поднялся и пошёл ей навстречу. «Ну что там, – осевшим голосом спросил он, – как там наша Любаша?» «Нет у нас больше Любашки»... И только теперь Мария, не проронившая до этого ни слезинки, в голос, по-звериному завывала.

Кладбище, дети, много детей, одноклассники, поминки. Бесконечное «Пусть земля ей будет...» и окаменевшие от горя родители. Пора домой. Привезли. Квартира, запустение, всё словно чужое. «Да, это только ночлежка». Оборванная с одной стороны цветная занавеска на кухне висела приспущенным флагом. Не зажигая огня легли, не раздеваясь. Не спали. Пустота. О том, что будет завтра, не думали.

Прошло несколько месяцев. Константин Петрович сидел в кресле у телевизора, Мария Никитична расположилась на диване и вязала. Большой рисованный портрет Любы висел напротив. Снять его она не решалась. После похорон они с мужем мало говорили друг с другом – нужных слов не находилось. Вдруг он поднялся с кресла и присел рядом с женой. Нежно обняв её, тихо спросил:

«Маша, мы ведь ещё не старые, правда?» А затем, утверждаясь в своей мысли, продолжил: «Не горюй, будет у нас ещё дочь!»

## МИХАЛЫЧ

Жил у нас на Севере старый опытный фельдшер Иван Михайлович Шкуратов. Посёлок лесорубов, где мы жили, был небольшим, так что Шкуратов был на десятки километров единственным представителем медицины в этом глухом гнёзном крае. Заведовал фельдшер небольшой больничкой на 10 коек. Во всякое вре-

мя года ходил он по посёлку в одном и том же овчинном полушубке и в шапке-ушанке. При этом правая рука его в знак приветствия была постоянно вскинута вверх. Каждого жителя он знал не только в лицо, но и по фамилии, имени и отчеству. Его неизменное «Здравствуй, голубчик» было известно всему посёлку. По утрам он совершал обход своих пациентов, после обеда принимал больных в поликлинике. Замечательный фельдшер, он обладал к тому же редким свойством ставить диагнозы по нюху. Приехал он как-то на совещание в райцентр. А главный врач (из бывших фельдшеров) ему говорит: «Послушай, Михалыч, сходи-ка в пятую палату и посмотри больного; никак не можем диагноз поставить». Пошёл Шкуратов «смотреть больного», приоткрыл дверь, потянул носом и говорит: «Сыпнячком пахнет». Взяли кровь на анализ: точно сыпной тиф. Однако известен он был не только как специалист, но и экстравагантностью в обращении с больными. Приходит он, скажем, утром на обход и спрашивает у пациента: «Здравствуй, голубчик, ты ещё жив?» Тот несколько ошарашено и уже не совсем уверено: «Жив». — «А ты знаешь, мне нынче сон приснился, что ты помер», — и переходит к следующему больному. Или сидит он на приёме. Заходит пациент и жалуется на кашель, боли в груди и высокую температуру. Шкуратов просит его поднять рубашку и начинает выслушивать. Выслушивает долго, а затем говорит: «Ну что, голубчик, пневмония, в больницу тебе надо, но, да вот только мест у меня нет». И после некоторой паузы: «Впрочем, погоди, у меня там в третьей палате один больной есть. Он, наверное, сегодня ночью померёт. Приходи завтра на его место». Симулянтов Шкуратов не терпел, больничные листы им не выписывал, за что те его за глаза иначе как «Шкурой» не называли. Для остальных он был просто Михалычем.

По субботам он ходил в баню, и не было ему равных в парном деле. Помывшись, он заходил в парную, наливал в тазик кипяток и запаривал в нём принесённый с собой берёзовый веник. Затем, плеснув на горячие камни пару ковшей воды, забирался на верхнюю полку и начинал улаживать себя, методично похлопыва-

вая веником одну часть тела за другой. После этого Шкуратов выходил в общее отделение и подставлял свою лысину под струю холодной воды. И так несколько раз. Он нагонял изрядное количество пара и радовал свою плоть до тех пор, пока в парной никого не оставалось. Был как-то Шкуратов проездом в Москве и решил зайти помыться, а заодно и попариться в знаменитые Сандуновские бани. Здесь история повторилась: парился до тех пор, пока не остался в парной один. Не выдержали и старожилы – завсегдатаи Сандуновских бань. И тогда в парилку зашёл банщик: «Вы откуда, мил человек, будете?» – спросил он с любопытством. «Я вот вам тут пивка принёс». Поставил кружку на полочку и почтительно удалился. Такое в истории Сандуновских бань, рассказывали, случается не часто.

Неосторожность, приключившаяся со Шкуратовым, произошла опять-таки в бане. Вышел он из парной, чтобы остудить голову, и открыл по ошибке кран с кипятком. Раздался отчаянный крик. Лысый череп его стал красным и моментально покрылся волдырями. С искажённым от боли лицом Михалыч бегал по бане и выкрикивал: «Ссыте на меня, ссыте на меня!» Мужики стояли, оцепенев от ужаса, и не могли понять, чего требует от них фельдшер: уж очень необычной была его просьба. Наконец кто-то увлёк Шкуратова в укромное место, где людей было поменьше, и окропил лысину фельдшера обильной струёй. Шкуратову помогли одеться и отвели домой. Дней через пять все ожоги фельдшера без каких-либо дополнительных средств зажили.

Таков фельдшер Иван Михайлович Шкуратов, продемонстрировавший на примере собственной лысины целебные свойства мочи.

# ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

## ОСЕНЬ

Я забываю начисто о лете.  
Люблю я час, когда приходит осень.  
Одетые деревья в разноцветье.  
На юг летящих птиц разноголосье.

Когда свистит и балагурит ветер  
и листья за собой кружит и носит –  
не вспоминаю вовсе я о лете,  
я преклоняюсь пред тобою осень.

В твоём ещё не заданном вопросе,  
лишь тонко ощущаемом привете  
звучит всё то, что мне приносит осень,  
и то, что никогда не встречу в лете.

\* \* \*

Хорошо, когда приходит осень.  
Молча бродит сумерек патруль.  
Ветер по асфальту листья носит  
и висит тумана серый тюль...

Одиночество бывает кстати.  
И покоит нервы тишина.  
Мягкой осени рукопожатье  
ощутить до самого темна.

И раздевшись, ламп не зажигая,  
провалиться в тёплую постель.  
И принять от ночи, засыпая,  
сон спокойный, как лечебный хмель.

## ЯВЛЕНИЕ МАРТА

Февраль ушёл. Умчался. Улетел.  
Растаял заодно с последним снегом.  
Он задержаться больше не посмел,  
не злоупотребил своим почлегом...

Явился март. Легко, как всадник, вскачь.  
Авансы рассыпая влево, вправо.  
Не верьте – он проныра и трепач,  
он всех поит весеннею отравой:

игривым ветром, запахом травы,  
улыбкой солнца и любовным вздохом,  
ну, словом, всем, на что так падки вы, –  
стремится этим вас застать врасплох он.

## НА СВОЁ РОЖДЕНЬЕ

Я родился в конце ноября,  
перед тем, как наступит стужа.  
Видно, это случилось не зря,  
я поре той был, видимо, нужен:  
чтобы осень перечеркнуть  
и озвучить зимнюю ноту,  
в поднебесьи наметить путь  
журавлиному перелёту,  
сделать, чтобы снежный покров,  
озонировал бы дыханье,  
чтобы всем волновали кровь  
краски северного сиянья,  
чтобы...  
вот вам и весь ответ,  
полный зимнего аромата...  
Выпал мне счастливый билет  
под конец ноября когда-то.

Из моего стареющего тела  
душа в несбыточное захотела.  
Взяв головокружительный разгон,  
свои порывы мчит в простор времён.  
К какой теперь она стремится цели?  
К любой, чтоб только мысли не сомлели...

Признаюсь, в совершенстве я постиг  
и каждый вздох её, и каждый крик.  
Преград случилось много на пути,  
но не хотелось ей назад идти.  
И держит много лет моя душа  
баланс на остром лезвии ножа.

## МОЁ МЕСТЕЧКО

Я листал свою жизнь за страницей страницу.  
Вспоминал своих предков библейские лица...

К сожаленью, в еврейском местечке я не был,  
не вдыхал его запах, не ел его хлеба.  
И никто из родных моих не был оттуда,  
никого не коснулись его пересуды.

Мойхер-Сфорим, и Шолом-Алейхем, и Бабель  
подарили местечко мне в полном масштабе.  
Понял я, где начало берут мои корни,  
и дыханье моё стало много проворней.  
Ощутил с ним тогда общность родственных связей,  
что по мне расплескались причудливой вязью.

И меня снарядили по жизни в дорогу,  
завещав чистоту с уважением к Богу.

Стали ближе мне хуны, брит-милы, бармицвы,  
грусть в глазах местечковой прекрасной девицы,  
блюда кухни еврейской, весёлые споры,  
местных цадиков мудрые разговоры.

не превозмочь...  
Чем провинился я, пред кем?  
Встаю, приоткрываю шторы,  
но знаю точно час который –  
да, ровно семь...  
А потому и вкривь, и вкось  
меня болтает постоянно.  
Живу без ритма и без плана –  
так, на авось...  
Как длинный день мне скоротать?  
Иль отказать ему в приёме,  
в себя зарыться в полудрёме –  
обняв кровать?..

\* \* \*

Может, из лихости, может, со скуки –  
где здесь мерило?  
Вы сгоряча мне целуете руки,  
шепчете: «Милый».  
Просто расслабиться вам захотелось  
хоть на мгновенье.  
Может, толкнуло на быструю смелость  
липы цветенье.  
Или моим очарованы даром  
стихосложенья,  
им упились, как целебным нектаром,  
как наважденьем?  
Знаю, иным бы не смог вас привлечь я –  
это не тайна.  
Мне нанесли небольшое увечье  
чисто случайно.  
.....  
Но захлебнувшийся прихотью ночи  
кончился вечер.  
Точку поставим или многоточье  
мы этой встрече?..

## НАМ БЫ С ВАМИ ВДВОЁМ...

Нам бы с вами вдвоём  
прокатиться в шикарном ландо.  
Только где его взять?  
И у вас настроенье не то.  
Да и нынче об этом давно устарело понятие...  
Вы глядите в глаза.  
Я свои не могу отвести.  
Понимаю, что вы  
для меня лишь всего травести.  
Где былая решимость? И где её смог бы занять я?..

А вокруг суета.  
Приближается солнца закат.  
Вот и лёг он уже  
на причудливый этот фасад.  
И игриво лизнул пробегающих толпами лица...  
Кожей я ощутил  
холодок безразличия рук.  
И в глазах с любопытством  
замешанный наспех испуг,  
как дистанции знак – вот она возрастная граница...

Прощавшись кивком головы  
вы идёте в U-bahn.  
Я один остаюсь.  
Кем обет мне молчания даи?  
Явно – вы для меня найстрожайшая в мире диета...  
Я в другом направлении  
вбегаю в последний вагон.  
И в глазах проплывает  
уже опустевший перрон,  
И несётся в туннель он, поглубже от белого света...

Так окончилась вся  
мимолётная встреча, увы.  
Нам не встретиться вновь,  
да и вряд ли запомнили вы  
пожилого мужчину в заваленном набок берете...

Выхожу в вестибюль,  
оглянувшись ещё перед тем.  
Обозначив сюжет  
для достойного множества тем.  
Для потомства на память оставив созвучия эти.

# МАРЛЕН ГЛИНКИН

## ФОКУСНИК

– И давно вы пишете? – спросил меня редактор одной русской газеты в Берлине, откладывая в сторону рукопись моего рассказа. Я взглянул на часы:

– Уже два дня...

Хм... – произнес он. – А почему вы решили написать именно юмористический рассказ?

– Понимаете, читая юмористическую страницу вашей газеты, мне стало так грустно, что я подумал почему-то, что ничего сложного в этом нет, и вот решил попробовать... Тем более, что теперь многие пробуют творить в эмиграции.. учитывая, что «вытворять» они здесь уже не могут. Знаете сколько великих поэтов и прозаиков в литературных студиях русскоязычного Берлина? Не знаете?! И в этом ваше счастье!... Я уже не говорю о переводчиках. Все стали переводить Гёйне, Гёте, Рильке, Малларме... Они не понимают, что перевод того, что есть в стихотворении на ег о родном языке, принципиально невозможен. И слава богу, существует на свете горстка людей, сочинивших пересказы, толкования, нечто, напоминающее эквиваленты и никогда, естественно, ими не бывающее, потому что невозможно попасть в несуществующую мишень – чувство читателя, к которому апеллирует автор, ибо перевод никогда не соответствует полностью авторскому чувству. Но к этой благородной группке людей примыкает, подделываясь под нее, орда бессовестных ремесленников, работающих по подстрочнику, понятия не имеющих о вкусе того, о чем они должны высказать свое мнение, ведь перевод – это всего лишь отзыв о подлиннике... Я правильно мыслю?

– Еще бы!... Вы думаете написать юмористический рассказ легче, чем переводы, о которых вы так правильно высказали свое мнение? Видите ли, господин?...

Белоцерковский моя фамилия.

– Так вот, господин Белоцерковский, – редактор встал из-за стола, – это действительно может показаться простым делом со стороны. Но, надеюсь, вам не нужно объяснять, что чувство юмора очень редкая категория: либо она есть, либо ее нет и не будет. Необходим, кроме того, жизненный опыт, талант, наконец. А ваша попытка напоминает, – он на мгновение задумался, – неудачный перевод или, как если бы я, допустим, пришел к вам устраиваться на работу, не имея специального образования. – Вы кем работаете, – задал он неожиданный вопрос.

Здесь я уже не работаю. А там – был фокусником: днем – заведовал овощной базой, а вечером – в клубе глухонемых показывал совсем другие фокусы.

На лице редактора промелькнуло удивление, сменившееся любопытством.

Уже совсем не менторским тоном, а каким-то, скорее, почтительным он произнес:

– А вы не могли бы... что-нибудь продемонстрировать из своего клубного репертуара? – при этом редактор оглянулся на дверь.

– Пожалуйста, – сказал юморист, удобнее усаживаясь на стуле.

Редактор почему-то на цыпочках подошел к двери, закрыл ее на ключ и так же вернулся к столу, с живым интересом глядя на посетителя.

– Следите внимательно за моей рукой, – сказал он и, подняв руку вверх, достал из воздуха бутылку коньяка «Наполеон», а затем таким же образом – хрустальный бокал.

Редактор ошеломленно смотрел на эти предметы, не совсем обычные на его рабочем месте.

– А это все настоящее? – занкаясь произнес он.

– Конечно, можете попробовать, – заверил его иллюзионист и наполнил бокал.

Редактор с опаской взял в руки бокал и сделал небольшой глоток. Выражение его лица не оставило сомнений в том, что это именно тот напиток, который обозначен на этикетке.

– А как вы это делаете? – спросил заинтригованный редактор.

Но вы же не открываете мне своего профессионального секрета, каким образом вы оцениваете юмористические произведения?

Ах, это, – редактор как будто только сейчас вспомнил о рукописи. – Вы оставьте ваш рассказ, я еще разок посмотрю... – И немного помедлив, спросил: – Скажите, нельзя ли этому научиться? – и показал головой на коньяк, а затем, спохватившись, уточнил: – Фокусам?

Если вас интересует, то завтра в двенадцать часов я провожу в нашем литературном клубе, специально для великих писателей и переводчиков, семинар по трансцендентному переносу материальных объектов, вот адрес. – И подал редактору визитку.

Проводив посетителя, довольный редактор вернулся к столу и выпил еще бокал бодрящего напитка. В это время раздался стук в дверь, и в ответ на приглашение в кабинет вошел курьер. Он вручил редактору заказное письмо с уведомлением о вручении. На конверте синей бумаги стоял золотой штамп: Берлин, ресторан «Адлюн».

Внутри конверта редактор обнаружил счет:

1. Коньяк «Наполеон» - 146 евро
  2. Бокал хрустальный - 50 евро
  3. За культуру обслуживания 10% - 19,60 евро
- Итого: 205,60 евро.

Цена начисляется через 48 часов со дня получения.

Ниже стояла подпись:

*Юморист Белоцерковский.*

## ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА

Тартаковский не был Нарциссом, не хватал с неба звезд, не брал быка за рога. Кроме этого, он не был семи пядей во лбу, не ел сладкого и не пил по утрам самогон. Он не ездил за туманом и за запахом тайги и, наконец, никогда не был, не имел, не привлекался, с рождения, правда, был инвалидом пятой группы, что позволяло ему стать среднестатистическим мужчиной.

«Я не Нарцисс и не хватаю звезд с неба, как-то

написал Тартаковский в город Харьков, где проживала девушка его мечты. Он «намечтал» ее в столичной газете по объявлению.

Я очень порядочны. Живу с мамой. Не волочусь за женщинами, не делаю прогулов на работе, не ем перед сном и развиваю задатки хорошего семьянина: хожу в магазины за продуктами, мою посуду, убираю в квартире, стираю... Исходя из вышесказанного, предлагаю тебе руку, сердце и маму... Короче, прошу стать моей женой.

И Валя приехала, чтобы стать. Вы видели Мадонну? Мадонна плакала бы от зависти, когда увидела бы Валю, настолько Валя была красивой. Мало этого, Валя играла Тартаковскому на баяне, водила его, без мамы, на театральные премьеры, вернисажи, но готовила, как в столовой общепита. А путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Желудок, избалованный мамиными вареничками, кислосладкими, фаршированной рыбкой наконец.

Валя пошла путем искусства, заблудилась и не дошла. Через полгода Тартаковский ненавидел баяны, мучился на премьерах, избегал вернисажи. И Тартаковский сжег все мосты и возвратил Валю в ее родной Харьков.

Вторая жена попала к Тартаковскому из журнала «Сидуэт». Она не вызывала зависти у Мадонны. А главное – не играла на баяне. И за это Тартаковский ее полюбил и мама тоже. Фира была заботливой и чуткой. Она вязала Тартаковскому теплые кофты и готовила постные борщи и овощные рагу. А как она выбивала ковры!!! Соседи ходили смотреть, как она выбивает. Иногда она выполняла эту работу для соседней, конечно, за небольшую оплату. Но не хлебом единым, кофтами и дополнительным заработком сыт человек.

И через полгода Тартаковский затосковал по баяну, бендифсу и вернисажу. Гретья жена, которую через знакомых нашла ему мама, была красивой, как первая, и заботливой, как вторая, и Тартаковский был для нее готов на все. Он выбивал ковры, как Фира, и играл на баяне, как Валя, и все же оставался Тартаковским вместе с мамой.

А Марина через полгода уехала в тар-та-ра-ры, но не за туманом и не за запахом тайги...

И рядом с ней рука об руку ехал не Тартаковский, а некто, просто вылитый Нарцисс. Он был семи пядей во лбу, отлично знал несколько иностранных языков, как бог, разбирался в компьютерах и запросто хватал звезды с неба.... Даже если звездное небо простиралось над Канадой.

2002 г.

## ЦЕНА СВОБОДЫ

Моя двоюродная сестра Белла была узницей многих гитлеровских лагерей смерти – и выжила. Правда, после освобождения из Бухенвальда, сразу же проследовала в сталинские лагеря «реабилитации».

В НКВД никак не могли уяснить, как это еврейка выжила в страшных застенках смерти.

В череде ее рассказов меня потряс один уникальный случай, который бы мог стать основой сценария для фильмов ужаса.

...Моросил осенний дождь. Узники возвращались в бараки из карьера, куда гитлеровцы ежедневно гоняли всех на кагоржную работу. Медленно двигалась колонна в шестьсот человек под охраной конвоя и овчарок. В тот день, дорога была особенно изнурительной. Люди то и дело спотыкались и падали в воронки от бомб, заполненные грязной водой. Обойти их было нельзя: собаки и конвоиры не давали ступить в сторону и шагу.

Несмотря на дождь, у ворот лагеря собрались зеваки. Среди них были и дети из семей охранников. В узников летели камни, изредка куски заплесневелого хлеба.

В небе послышался гул самолетов. Он становился все ближе.

– Шнеллер!...Быстро!... – заорали конвоиры.

– Американские, – сказал один из узников своему товарищу, шагавшему рядом, когда показалась груп-

на бомбардировщиков.

– Им все равно, кого бомбить, могут даже по колонне пленных для счета, – ответил он.

Где-то позади колонны грохнула бомба, за ней вторая, третья...

Ауфлеген!... Ложись!... Капут! кричали немецкие солдаты.

Снова свист бомб, затем грохот потряс землю. Когда наступила тишина, наш герой услышал неподалеку надрывный детский плач. Он приподнялся. Фашистские солдаты зарылись в грязь, а метрах в тридцати от них бежал ребенок. Вдруг он поднялся и рванулся к мальчишке. «Куда? Застрелят?» – крикнул кто-то, но он, казалось, не слышал. Прошла минута. Обняв белокурого немецкого мальчика лет пяти-шести, смельчак прижался вместе с ним к земле.

– Грусливые звери! – говорил он с гневом, указывая на фашистских солдат. – У них под носом гибнет ребенок, а они спокойно лежат, мерзавцы!

Наконец налет кончился. Медленно поднимались люди из воды и грязи. Смелчак шел, пошатываясь, как пьяный. Мальчик что-то бормотал по-немецки, указывая вверх.

Чей это ребенок, никто не знал. Фашисты скалили зубы, кричали: «Карашо, рус!»

Колонна остановилась. Пленных стали парами пропускать в зону лагеря.

– Стой! Откуда мальчик? – спросил старший охранник.

Стоящий рядом комендант лагеря, услышав эти слова, обернулся. Глаза его округлились.

– Ганс! – закричал он, протягивая руки к ребенку. – Почему мой сын здесь?! В грязи?! Откуда?! – орал по-немецки и по-русски комендант.

Конвоиры наперебой стали ему рассказывать о случившемся.

– О! Рус!... Молодец! – оскалившись, сказал комендант. – Не побоялся конвой и много бомб. Я тебя хорошо буду кормить. Вот, возьми подарка! – Быстрым движением фашист снял золотые часы и сунул военнопленному в руку.

За ребенок, ты спасал! – улыбался комендант, показывая гнилые зубы.

Вдруг рука военнопленного взметнулась вверх. Ударившись о камни, часы брызнули в стороны желтыми осколками.

– Жри сам, скотина!

Все оцепенели. Конвойные направили на пленных автоматы. Все ждали: что будет?

С минуту комендант ошалело глядел на решительную физиономию заключенного. Затем потянулся к кобуре.

– Фатер! – закричал мальчик, хватая за рукав отца. Ощерившись, комендант закрыл кобуру, затем направился к машине.

...Прошел месяц тяжелой и тревожной лагерной жизни. Человек, спасший мальчика, ходил по лагерю, строгий, независимый, как будто и не был узником. «Подождите, скоро придет вам конец», – смело говорил он охранникам. Гитлеровцы ругались, но, к удивлению всех, не трогали его... Глубокой осенью он заболел. Лагерные врачи признали тиф и поместили в изолятор, а после выздоровления собрались отправить в Освенцим – лагерь смерти, откуда было трудно выбраться живым. Товарищи тайком пробирались к нему, радовали новостями. Сообщили о наступлении по всему фронту, о том, что удалось наладить связь с местными антифашистами. Говорили о подготовке побега... Спустя какое-то время в лагере объявили тревогу: ночью бежало тридцать пять заключенных. Но радость для пленников была недолгой.

На второй день некоторых из бежавших поймали. Среди пойманных оказался и тот, которого комендант пытался наградить часами. Он числился в лагере под №578. Перед строем заключенных комендант застрелил двух беглецов, остальных добили охранники. И только №578 оставили в живых...

А этот – номер 578, русская свинья, зачинщик побега, который бросал мой часы, – будет другой конец, – заявил комендант. Фашисты приковали пленного за левую руку к столбу, установленному за воротами лагеря, а рядом положили на ящике хлеб, колбасу, поставили бутылку воды.

– Пусть рус видеть свобода! – орал комендант, – Пусть кушайте двенадцать дней, а после повешайт!

Русский солдат стоял, высоко подняв голову, не притрагиваясь к пище. Иногда к столбу прибегали мальчишки. Молча смотрели они на гордого человека, который грустно улыбался белокурому Гансу.

Прошло несколько дней. И снова в лагере объявили тревогу: военнопленный, которого приковали к столбу, бежал. Фашисты металсь по лагерю, то и дело возвращались к столбу, кричали, спорили, ругались.

Приехал комендант. Подошел к столбу, вытаращил глаза и попятился назад: на цепи висела окровавленная кисть руки. Вдруг фашист втянул голову в плечи: он увидел у столба хорошо знакомый ему топор, обычно лежавший в его доме на кухне.

– Майн кинд?! – прошипел он. Поднял топор и спотыкаясь побрел к машине.

# ЕВГЕНИЙ ДЕНИСОВ

## ЛАСКОВЫЙ МАЙ

Когда я умру, на земле будет ласковый май.  
И солнцу навстречу поднимутся травы и листья.  
И снова наполнится мир торжествующим свистом,  
И щебетом птиц, от весны поскодивших с ума.

В тот день – будто ливнем умытый сиреневый куст,  
тебе улыбнется, наполнив неслыханным счастьем,  
тебя подчинит своей крепкой, но сказочной власти...  
«Да здравствует жизнь!» –

пусть сорвется с немеющих уст.

## СПАСИБО ТЕБЕ БЕРЛИН

Снял застарелый сплин,  
спасибо тебе, Берлин,  
за неба глубокую синь,  
за дни и ночи предлинные  
и липы унтерденлиндные,  
и сочность твоих рябин.

Спасибо тебе, Германия,  
утро встречая раннее,  
и на исходе дня,  
за то, что душе израненной,  
открыла второе дыхание,  
здесь приотвинула меня.

# ЕЛЕНА ЕЩЕНКО

## РОДСТВО

Город прятал в пыли складки, рытвины, неровные бордюры. Расспросы земляка в таможенной форме предваряли шабаш забытого говора. Старые фасады оплыли магазинчиками, нотариальными конторами, питейными заведениями. Майские грозы еще не случились; почки уже потрескались, но скорлупа боялась умереть, подставив солнцу юное мясо листвы. Новые особняки, церкви и памятники проткнули засохшую грязь. Люди, одетые в немаркую одежду, привычно толкали неповоротливые шары будней; мутные лики в редких лимузинах притягивали, как прокаженные. Через несколько часов улей аэропорта казался миражом. Виктория прилетела из-за семейного несчастья, бабушкиной болезни. Старуха задумчиво смотрела на небо сквозь высокое окно пятиэтажки, почти сидя в приподнятых подушках дивана. Ее руки, покалеченные артритом, шарили по ветхому пододеяльнику, комкали и рвали ткань.

– Викуля, ты чего так долго из школы сегодня? – звонко спросила она уткнувшуюся в ее ладони внучку. – Я уж волноваться начала.

Погляди, погляди, что творит – не напасешься, – тревожно прошептала Вике мать. – А дня за два до тебя просила одеть в нарядное платье, говорила, что пора в гроб.

Запах мочи и лекарств прилип к стенам, мебель была неудобно переставлена, чтобы можно было с любой стороны подойти к неподвижному телу. Дни заполнились попытками приспособиться к существованию оболочки, которой тяготилась собственная душа. Иногда старуха узнавала тех, кто ее тревожил. Она вспоминала, как прятала под подушку спящей девочки яблоко или конфету, уходя на работу, и удивлялась, что склонившаяся над ней женщина все забыла.

– А помнишь, как крысы в комнату пришли и бегали вокруг моего стула, а потом похоронка на Марка пришла? – волновалась она.

Бабуля, я ж тогда не родилась еще, успокоила внучка, вытаскивая наполнившееся судно, ты мне сто раз рассказывала. Спи уже, чего вспоминать ударилась? Спи.

Иногда поздно вечером пили вдвоем с матерью чай. Мысли матери были в учительской, среди соратниц. Учителя сражались за бывший детский сад, где размещалась школа, с большим человеком. Сто пятьдесят детей, учившихся в маленькой гимназии, созданной энтузиастами, мешали ему обеспечить потомство. Мать дважды выступала по местному телевидению с летописью борьбы, ее узнавали в округе. Утрами она исчезала из дому и никто не мешал Виктории болтать по телефону.

К вечеру четвертого дня ей позвонил человек, чей голос она хотела забыть, и попросил открыть железную дверь подъезда.

Она медленно спустилась по еле освещенной лестнице, ноги и помнили выбоины ступенек. Он был в светлом плаще, голубые глаза на широкоскулом лице сохранили выражение любопытного ребенка.

Волосок к волоску, – не удержалась Вика, цветы-то отдай.

А ты и не изменилась совсем, – сказал он и погладил ее, шагающую через ступеньку, по спине. Она дернулась.

– Так девочкой и осталась, усмехнулся он.

Их квартира, как всегда при его появлении, казалась маленькой и бедной. Он поводил плечами, как большой зверь в чужой, тесной норе, весело жаловался на жизнь. Вика заметила, как торопливо он свинтил пробку причудливой бутылки.

Под утро выбрались из прокуренной кухни и бродили по городу, подкрашенному зарей, – по мощеной булыжником главной площади, по плотинке у городского пруда, где по обычаю гуляют июльской ночью выпускники. Проходя мимо пустыря напротив церкви Вознесения, где раньше стоял дом со следами от пуль

на стенах подвала, она ускорила шаг. Бабка боялась этого дома, шепотом рассказывала об убийце, выступавшем когда-то по здешним школам, и ее неприязнь проросла в Вике. За ночь осыпались почки и тротуары стали липкими, а ветерок пропах тополем. Вернулись продрогшие, пили чай в тихой квартире, стараясь не разбудить старую женщину. Вика сделала чай сладким, что обычно запрещала себе, и ей казалось, что она пьет какую-то цукуту. Он положил руку на ее ладонь.

– У меня не получится, – объяснила она.

Получится, – спокойно пообещал он.

Потом лежали, притихшие. Он отключил свой телефон.

– Сколько уже Алешке? – спросила она. – Восемнадцать, – сказал он. – На четыре года старше твоей Марии. Как Сергий?

Серее там хорошо. И Мане тоже. – А тебе? А какая разница, где? Впечатления вместо чувств.

– Довольна?

– Не знаю. Чужие мифы, новые поверья – учеником родился, учеником помрешь... А почему Олька, а не я? – поинтересовалась она, тупо водя пальцем по рисунку обоев. Он повернулся, провел рукой по ее плечу, спрятал ее кулачок в своей ладони и сказал ей в затылок:

– Вица, я тебя потом остаться просить буду, а ты беги. Хорошо?

– Во-первых, не обзывайся, Генадьев, и так всю школу мне испортил. А во-вторых, не приставай.

Смеялись оба. Его голос стал другим, грубее, чем помнил. Странно было, что он не забыл те шутки, прозвища, названия книг и фотографии из Целого альбома над ее столом.

Уходя на работу, дочь обкладывала старую женщину подушками, чтобы та не упала. Одна из подушек свалилась на пол, и ногам старухи стало холодно. Если бы там улеглась кошка, было бы теплее, но кошка ушла в другую комнату, хитроумно растворив обе двери. Старая женщина слышала далекую молодую возню, но не испытывала стыда.

День толкался в окно, форточка двигалась от вет-

ра, качалась верхушка огромной липы, облака суетливо пересекали раму. Казалось, что дом плывет куда-то к далекой церкви Вознесения, чей купол был как маяк среди окрестных невысоких зданий. И церковь, и дом стояли на пологих холмах и улыбались друг другу. Когда она получила здесь комнату в первом послевоенном году, мама боялась подходить к окну, пугалась высоты и Лялька смеялась над ней: «Бабушка бояка». Мама уже тогда стала странная, все делала медленно, словно через силу. Отец уехал весной сорок первого к старшей дочери в Минск. Но все кругом потеряли кого-то — и она сама потеряла Марка, призванного в конце того лета, и от этого горе, не становясь проще, было привычным. Мама же словно не смирилась, перестала зажигать по пятницам свечи, хотя при соседях это было бы и неудобно. Жизнь требовала — и мама стояла в утренних очередях, делала бабку, вязала, возилась с Лялькой, но что-то угасло в ней, как те свечи, навсегда. Раньше была большая семья, по пятницам все собирались за столом с белой скатертью в их полуподвальчике на Белинского, дед читал непонятные, страстные слова из старой книги, протягивал руку над серебряным стаканчиком, сам резал хлеб. Марк принимался иногда объяснять ей привязанность стариков к ненужным обычаям. Она не задумывалась — нужные ли, ей нравилось сидеть за столом и петь песни, нравилось крахмалить скатерти, печь булки «косичкой» и собирать на стол. При Марке она не пошла бы работать на завод. «Моя жена должна сидеть дома», — говорил он, и никогда ей так не жилось, как три предвоенные года с ним.

Но в тридцать девятом родился и через два дня умер ее Сёмочка. На кладбище Марк плакал, повторяя: «Сынок, сыночек», не стесняясь языка, который не понимал его сослуживец по заводу. Через год они гуляли по плотинке, нарядные, она ощутила первые поглаживания завязавшейся жизни и сказала ему. Он купил огромный букет сирени и завел ее в фотоателье, и тот снимок был их последним — вместе. Марк был голубоглазым, рыжим, коренастым, и никто не был за жизнь так — ее, как он. В остальное потом примешивалось суетливое ощущение недозволенного и жалость к себе

Марк ходил на ее отца: они оба любили мастерить, — только отец был краснодеревщик, а Марк, хотя и выучился на инженера, сохранил прежнее умение сапожника. Он вырос в южном городке, ненавидел зиму, слякоть и ворчал на погоду, прибывая набойки всей родне. Его брат, вернувшийся в сорок шестом, съездил потом в тот городок и говорил с соседями, отводившими глаза, и узнал и родительское зеркало в темной оправе, и резную тумбочку, стоявшие в их прихожей.

Форточка перестала раскачиваться, стало душно, облака потемнели, но не разразились дождем, а опустились ниже, облепляя окно. Старая женщина увидела, что край облака протиснулся в комнату и заслонил свет, и удивилась, а потом поняла, что это мама пришла закрыть окно и перевернуть ей подушку, чтобы было прохладнее. Мама села рядом на край дивана и положила ей руку на лоб, и стало легко.

Вика проснулась от того, что кошка вспрыгнула на тахту. Дождь лупцевал окно, нужно было закрыть форточку и вытереть мокрый подоконник. Она выключила оставленный в коридоре свет. Дверь в другую комнату была приоткрыта, и Вика заметила, что рука старой женщины свесилась с края дивана, почти касаясь пола, а голова повернута вбок. Видно было отошедшую челюсть.

Вика поправила голову, повторяя единственную фразу, которую знала наизусть, согнула прохладную руку и притянула одну к другой ладони с костными шишками на пальцах. Кошка сидела в дверях, не заходя в комнату. Ветер ударил в окно, старая рама распахнулась, цветочный горшок не удержал ее и упал на пол. Вика подумала, что если она закроет окно и уберет осколки, слабое тепло исчезнет из старых ладоней, и осталась сидеть неподвижно.

Оказалось, что он знает, как нужно подвязать челюсть. Он помог и много помогал потом. Мать договорилась, чтобы перед сжиганием прочитали все, что нужно, пришлось взять молодого раввина на край города в генадьевской машине, а для остальных подали автобус. Потом пошли в кафе, где был заказан стол. Те, кто не стал есть, сидели просто так — родня была

большая, собирались редко, не виделись годами.

Через неделю он провожал ее назад. В маленьком аэропорту на заграничный рейс регистрировались нарядные люди. Пришлось перечислять шкатулки и блюда каслинского литья, о которых предупреждали, что не пропустят, но все-таки разрешили. Пока бросали вещи на ленту, лопнул кулек с книгами. Она стояла с внутренней стороны нейтральной зоны с охапкой книг в руках и смотрела на него. Он выглядел усталым, волосы не были уложены и лицо казалось шире. Это было крестьянское лицо сорокалетнего мужика. Он терпеливо ждал, чтобы она нагляделась. Вика вдруг поняла, что он похож на человека, с которого вылепили солдата с девочкой на руках.

Летели только свои, незачем было улыбаться. За ней ухаживал сидевший рядом седобородый мужчина. Он купил ей духи, которые долго выбирал на тележке у стюардессы. Седобородый был инженером меднообогатительного комбината и не жалел о потраченных деньгах – его земля велика и обильна.

# МАЛЬВИНА ЗОР

## БОЛЬ

И день и ночь,  
И день и ночь,  
И снова день.  
И смерть не хочет мне помочь –  
Ей лень.

И тут и там,  
За кругом круг,  
За шагом шаг  
За мною ходит по пятам  
Мой верный враг.

\* \* \*

Я ненавижу этот день.  
Скорей бы он прошёл!  
И разговоров дребедень  
Ударится об пол,  
И зазвенят, катясь, слова  
И разбегутся врозь...  
Болит, кружится голова –  
«Забудь, не думай, брось!»

\* \* \*

Музыка жизни важнее слов,  
Пусть плещутся в ней года.  
Она оставляет на тайнах покров  
Невинности. Но иногда  
Слов шальных не сдержат напор,  
Тех, что не нужны соловью.  
Дышат, рвутся из кожных пор  
Ich liebe.... Люблю... I love you!

\* \* \*

Ветер в парке сорвался с цепи. Баловал,  
Но прогнать нас не смог.  
У тебя на коленях моя голова,  
Как кудрявый щенок.

За тобою в обглоданных ветках снуют  
И шалют облака.  
Ветер к нам подобрался, почуяв уют,  
Нас обнюхал слегка...

И сейчас я смотрю на тебя в вышине –  
Силуэт в небесах,  
Пёс мой, сторожевой, кем-то посланный мне,  
Прогоняющий страх.

\* \* \*

Откуда эхо в тихой чаще?  
Чей это вздох – не твой, не мой?  
Луна – огромный рот кричащий,  
Вопль оглушительно-немой.

Приливы чувств – отливы мыслей  
Луной владеют невпопад.  
И ведра слёз под коромыслом  
Бровей, непролиты, дрожат.

\* \* \*

Вселенная – зеркальный никель,  
Блестящий изобильный рог.  
Там небо, полное черники,  
Земля – загадочный пирог.

И жадно месяц белозубый  
Желает пира. А пока –  
Сухие освежает губы  
Глотком холодным молока!

\* \* \*

«Наша реальность ярче, чем сны», –  
Подумалось мне спросонок.  
Сквозь белую скорлупу луны  
Проклюнулось солнце-цыплёнок!

\* \* \*

Довольно слов, что на пути к тебе  
Легли под ноги острыми камнями!  
Я дать хочу молчания обет –  
И тишина вздохнёт меж нами,  
И ляжет на уста любви печать,  
И я покой узнаю до могилы.  
Но как тогда смогу я закричать  
«Единственный, любимый, милый!»

\* \* \*

Чуть слышное ресниц смеженье,  
На языке крупинки счастья,  
Дыханий тихое смешенье,  
И душ безмолвное участие...

\* \* \*

Поверхностной меня не назови  
За то, что я с улыбкой просыпаюсь,  
И только радость нахожу в любви,  
И что живу, почти не напрягаясь.

Литая океана глубина  
Нас то приподнимает, то глотает,  
А лёгкая небес голубизна  
Просторы для полётов предлагает.

И ад, в который нас печаль зовёт,  
Не глубже рая, что дарует нежность.  
И в безмятежном счастье познаёт  
Душа свою бездонность и безбрежность.

## ТОТ И ЭТОТ

...А когда растворился туман,  
Стало видно, что птицы озябли.  
Встречи чуть обозначился план –  
Целлофановый лёгкий кораблик.

И друг друга узнали почти  
Тот и Этот в обилии взглядов.  
И глазами сказали: «Прости,  
Но иного контакта не надо».

Может быть, Арлекин и Пьеро?  
И сравнения бред уже начат;  
И чёрнённое звёзд серебро  
Под раскрыльем бровей Тот не прячет.

Жизнь срывалась с последних цепей,  
Карусель превращалась в трамвайчик.  
Этот пел как ручной соловей  
И метался как солнечный зайчик.

Тот опорой поставил мне ось  
И любовью делился как хлебом.  
Как стремительно всё началось,  
Знает только высокое небо!

Тот гнездо из мелодий в груди  
Свил – и ожило сердце поэта.  
Тот шептал в темноте «Погоди...»,  
Но «Скорее!» кричал уже Этот.

Изменялись устои квартир,  
Не казалось ничто уже странным,  
И пульсировал жизни пунктир,  
И сменялись привычки и страны...

Нам открыта бесчисленность тем,  
И судьба нас едва догоняет.  
Я иду между Этим и Тем,  
Разделяя и объединяя.

# МАРГАРИТА ИХ

## ДИК АМУ-ДАРЬИНСКИЙ

Он был волк. Звали его Диком. Дика Зина нашла на палубе своего сухогруза, плававшего по Аму-Дарье. Маму его, степную волчицу, убили, тогда за убитого волка давали премию, а детеныша пожалели, засунули в мешок и забросили на палубу. Зина, совсем еще девочка, той весной только окончила техникум речного пароходства в Москве. Здесь сразу поставили капитаном. Днем сухогруз уныло тащился по густой, мутной воде, вечерами причаливал к берегу, поросшему колючим кустарником. Команда – моторист и два матроса перебиралась на берег отдохнуть от корабельной жары. Матросы ставили палатку для себя и другую для Зины. Однако по-настоящему отдохнуть не удавалось – истошно вопили шакалы. Иногда они, сбившись в стаи, нападали на палатку, подгрызали брезент и воровали еду. К Зининой эти разбойники не подходили – чуяли запах волчонка, лежащего у входа.

Зина отчаянно скучала по Москве, по родной коммуналке в старом доме у Белорусского, по друзьям из техникума. Так уж получилось, что единственным ее другом стал волчонок.

Самосознание в Дике проснулось рано, он уже тогда понял, что он волк, что он мужчина, ему надо охранять Зину, потому что она его стая.

Два года плавала Зина с Диком по Аму-Дарье, потом в начале пятидесятых вернулась в Москву. Комнатка восемь метров, узкое окно, дубовый стол, железная кровать с шпичками да стенная ниша с книгами, закрытая стеклянной дверцей. Из общей кухни тянуло сизым дымом от примусов стены покрывались плесенью. В такой комнате, на подстилке жил степной волк.

Часто, положив на лапы лобастую голову, Дик не то сочувственно, не то иронично смотрел на Зину и не понимал, как могут люди жить, ничего не чувствуя,

ничего не зная. Вот, например, лекарства. От сырости и духоты в комнатенке Дик и Зина часто болели. Ветеринары и человеческие доктора выписывали таблетки и порошки. Зина принимала их пачками, Дик отказывался. Зина попыталась засунуть Дикку таблетку насильно. Если верить Брему, волк весом в семьдесят килограммов может за один присест съесть четырнадцать килограммов костей, разгрызая их чуть ли не в порошок. Поэтому тот, кто решится открыть волку пасть насильно, вторично этого делать не станет. Отчаявшаяся Зина решила все лекарства, какие есть в доме, высыпать на стол, пусть сам выбирает. Дик отнесся с пониманием, долго кружил вокруг стола, потом лапой разгреб кучу и слизнул таблетку. Зина запомнила, какую. Оказалось, помогает лучше всех других. Отныне «метод Дика» применяли и она, и ее друзья.

Кроме радостей, были от волка и огорчения. Проснувшись утром, он шел дежурить к холодильнику. Он знал, что там находятся самые главные вещи: кости, крутые яйца и вареная лапша. Когда холодильник, наконец, открывался, Дик кидался внутрь и старался пожрать все содержимое, а когда Зина не давала, лизал снаружи дверцу, потом забирался на кровать.

Как-то Зина поставила в подушки упревать кастрюлю со сладкой пшенной кашей. Дик кастрюлю обнаружил, кашу сожрал, место запомнил и каждое утро проверял кровать: может, что осталось. Ничего не найдя, в отчаянии вспарывал подушку, перья разлетались по комнате. Остановить вакханалию можно было, только дав печенье «Привет». Он знал, раз дают «Привет», значит, ничего больше не будет.

Вместе они ходили в мясной магазин на улицу Горького за котлетами «Московские». Многие москвичи их помнят — смесь хлеба и сухожилий. Настоящая Дикина мама котлет Московские не видела, поэтому что с ними делать, детей не научила. На всякий случай Дик убивал котлету ударом лапы. Котлета разлеталась по комнате, клочьями повисала на спинках стульев. Зина их собирала, говоря разные плохие слова. Дик обижался, не понимая, за что ругают. Он все делал, как надо.

Зина научила Дика брать котлету из рук. Он отку-

сывал маленький кусочек и относил к себе на подстилку, там съедал. Потом приходил за новым кусочком. Ему это очень нравилось, в этом был элемент игры.

Там, в пустыне, мама кормила Дика и его братьев в основном полевыми мышами, иногда приносила тушканчика или суслика. Дик помнил, что они очень вкусные. Встретив во дворе кошку, он решил, что это суслик, только с длинным хвостом. При виде Дика дворовые кошки разбегались, взбирались на деревья, прятались в подвалы. Он пытался их ловить, война шла беспощадная. Но кошки ловчее и маневреннее волков из коммуналок. Дик так и не выиграл ни одного сражения.

Как-то во дворе к Зине подошла ее давняя знакомая и попросила приютить на несколько дней котенка. Зина брать не хотела, соседка настаивала, пришлось уступить.

Дик при этом разговоре не присутствовал, он рыл подкоп под угольный склад. Увидев котенка на руках у Зины, сначала ревниво зарычал, потом успокоился, решив, что котенка принесли ему на ужин: лег на подстилку, положил голову на лапы, приподнял зад, потом вскочил и закружился. Это означало высший восторг.

Но оказалось, что котенка есть нельзя, потому что Зина сказала:

– Дик, котика не трогать, его надо защищать, он наша стая!

Слово «стая» Дику было знакомо, оно означало только одно: в стае надо всех защищать. Дик был огорчен, но послушаться не смел.

В стенной нише Зина соорудила из книг норку для котенка, поставила блюдце с молоком, сказала Дику: «Нельзя!»

С тяжелым сердцем уходила утром на работу, весь день маялась, хотя дверцу прижала столом. Когда вернулась, увидела: дверца настезь, стол отодвинут, на нем пищит голодный котенок, злющий Дик ходит вокруг, рычит, но котенка не трогает – Зина сказала, что котенок из нашей стаи. Правда, было похоже, что котеночье молоко Дик выпил сам.

Удивительно, но Дик привязался к котенку, обучил его веселому развлечению, которому научился еще в норе. Называлось оно «сползание со спины». Развлекались по ночам. Сначала забирались на довольно крутое бедро спящей Зины, потом скатывались на пол вместе с одеялом. Уставшая за день Зина просыпалась не сразу, но проснувшись, шлепала обоих. Котенок мяукал, а Дик обижался, уходил на свою подстилку и долго ничего не ел, даже не пил.

Котенок был невероятно пуглив, боялся громкой музыки, сигналов пожарной команды, фабричных гудков. Испугавшись, прятался в Дике – забирался под брюхо, зарывался в густую шерсть и замирал.

Огорчительно было, что котенок и Дик получили разное начальное образование. У котенка была своя правда, у Дика своя. У волков первым приступает к трапезе главарь стаи, потом остальные взрослые, а уж напоследок молодняк. У кошек не так. Кошки-мамы всегда заботятся, чтобы первыми наелись дети. Каждый раз у мисок с едой возникали баталии – котенок шипел и мяукал. Дик норовил убить котенка, как котлету. Зина поняла, что ничего изменить не сможет. А потом пришла пора отдавать котенка. Дик, потеряв друга, затосковал, долго не мог утешиться. И тогда в первый раз влюбился. Дик был привлекательным волком. Часто при встрече с ним сучки поскуливали, вертелись, иногда даже ложились на спину. Дик оставался равнодушным.

А ее звали Герда. Она была высокая красавица и жила этажом ниже. Каждый раз, возвращаясь с прогулки, Дик останавливался перед обитой кожей дверью и тихонечко тьявкал. Герда отвечала громким, ликующим лаем, Дик как и все волки, лаять не умел, только ласково ворчал. Роман развивался медленно, но в какой-то момент Герда решила ответить Диду взаимностью. Тогда всполошились хозяева. Ихняя Герда была лауреатка всяческих конкурсов и обладала немислимым количеством медалей, Дик медалей не имел, а что могут родиться замечательные волкоовчарки, хозяева не подозревали. Когда к Герде вели элитарного жениха, Дик рвался в бой и чуть не выломал входную дверь.

Потом в подъезде поселился таксёр Блэк, длинный и низенький. Для него Дик был врагом номер один. Таксы народ мужественный. Сражаются один на один в узкой норе с разъяренным барсуком, там не развернешься и не убежишь. Каждый раз, встречаясь с Диком на лестнице, Блэк рвался в атаку, хозяйка хватала его на руки. Дик на истерику внимания не обращал, и это, наверное, еще больше ярило Блэка.

В ту последнюю весну Зина решила вывезти Дика на природу. Точнее, на свой катер. Когда-то катер назывался «Впередсмотрящий», потом его переименовали в просто «Вперед». Все равно это было издевательство. Катер был дряхлый, в порту все удивлялись, почему он никак не потонет. На нем ездили на прогулки по водохранилищу рабочие близлежащих заводов.

В буфете катера торговали пивом и бутербродами с колбасой двух видов: краковской и отдельной. Буфет и буфетчица тетя Галя заняли в жизни Дика одно из первых мест.

Когда Дику надоели бутерброды, он стал питаться курами. На водохранилище он увидел их впервые в жизни. Они были очень похожи на тех птиц, которые водились на берегах Аму-Дарьи. Их было много и они не умели летать, а только быстро-быстро бегали. Мама Дика их ловила и кормила детей. Ловить кур с катера было проще-простого. Когда катер приближался к берегу, надо было перемахнуть на дебаркадер и бежать в ближайший курятник, быстро хватать курицу и возвращаться во-свояси. На всю операцию уходило не больше пяти минут. Минут через десять появлялся хозяин курицы и требовал возмещения убытков. В конце месяца выяснилось, что на возмещения ушла значительная часть Зининой зарплаты, Дика пришлось посадить на цепь под лестницей возле буфета.

Возле него всегда толпился народ, угощали бутербродами, делились пивом – отливали ему в миску. Дик перестал пахнуть псиной, как положено, а пропах пивом и колбасой. К нему все время приставали, просили дать лапку. Дик не реагировал: у волков лапы, а не лапки, и если ваши собаки дают вам лапки, так это их собачье дело...

На нормальную кормежку денег не хватало, поэтому Зина повесила в буфете плакатик, под ним поставила котелок. На плакате красиво было написано, что Дик волк, что волков поить пивом и портвейном «Солнцедар» нельзя, а лучше опустить в котелок капельку денег. Удивительно, но после каждого рейса котелок пустым не оставался и хищений не было.

Весть о котелке дошла до начальства, было велено волка с прогулочного катера «Вперед» убрать и побои прекратить, в противном случае будут приняты надлежащие меры...

На высоком берегу Зина разбила палатку, попросила меня немного пожить с Диком. Я, конечно, согласилась. Мы не знали, что за леском, в паре километров, находится колхозная ферма крупного рогатого скота. Дик улучил какую-то мою оплошность, выскользнул из ошейника и мгновенно исчез. Как потом стало ясно, помчался туда.

Дика встретил бык-производитель Аврал, в просторечии Абрашка, наклонил голову, выставил рога, пошел в атаку. Но вдруг остановился и замер в недоумении: кто это? Судя по всему, от зверя должно пахнуть псиной, так почему от него несет пивом? Так пахло от председателя колхоза товарища Клепова. Хотя Аврала-Абрашку в колхозе звали «Умный еврей», соображал он туговато. А пока соображал. Дик успел смотаться, прибежал к палатке в необычном возбуждении.

Ради истины следует сказать, что как оно было на самом деле, не знает никто, потому что случилось это в воскресенье, когда на ферме был только сторож, а он ничего толком рассказать не мог, так как был в полной отключке.

На берегу Дик мог бы жить счастливо, если бы не чайки. Волка они донимали постоянно – прилетали выщипывать шерсть для своих гнезд, когда он спал на солнышке, воровали еду. На войну с чайками у бедного зверя уходило почти все время.

На водохранилище было весело. Птицы кричали, пароходы гудели, в полях тарахтели трактора. Надо было обладать волчьим слухом, чтобы среди этой какофонии услышать единственный грозный звук — мо-

тор катера санинспекции. Дик знал: санинспектор водохранилища – Зинин враг. И враг всех капитанов. Враг подкрадывался, брал суда на абордаж и начинал шмон. Штрафовал за все: за непротертые поручни, невытую посуду в буфете, грязь на палубе. Услышав катер санинспектора, Дик вскакивал на высокий холм и завывал. Волчий вой слышан был за несколько километров, на судах начиналась уборка.

Популярность Дика была необычайна. Проходящие суда три раза гудели: «Дик, привет!»

В тот день было тихо, солнечно.

Зинин знакомый капитан на катере приближался к причалу, вез, как всегда, ведро с едой для Дика. Тот сорвался с цепи, кинулся гостям навстречу, но не рассчитал прыжка, сорвался в воду. Бортом катера его прижало к бетонной стенке дебаркадера...

Вечером пришли матросы, вырыли могилу, забросали камнями, прикатили валун.

## ЗА САРАЕМ

Кажется, шла весна. На лавке мы обычно собирались часов в одиннадцать, когда время завтрака давно прошло, а обед еще не был готов. Мама и бабушки давали нам по куску хлеба – кому натертого чесноком, кому приправленного постным маслом, а кому и ломоть с шикарным названием “бутерброд”. Бабушка все время старалась мне всучить булку, толсто намазанную сливочным маслом и посыпанную сахарным песком, как ёлочная игрушка блёстками. Сливочное масло я тогда терпеть не могла, в то время я больше всего любила две вещи: жареную утку и соевые конфеты. Жареную утку я ела один раз в жизни – из Магадана приехала бабушкина знакомая. Приехала она ночью, а на завтрак кормила меня и бабушку этой удивительной уткой, взятой в дорогу. А соевые конфеты лежали в деревянном ящике на витрине магазина на соседней улице. Продавщица насыпала их металлическим совком в бумажный кулёчек. Бабушка выдавала мне по паре коричневых, будто пыльных, брусочков как премиальные за разные хорошие поступки.

Их великая правда, что поступками движет,  
для меня обозначилась высшим престижем.

И теперь эти чувства заслонить уж не сможет  
ни Нью-Йорк, ни Париж с их богатством и ложью.

### Из цикла «Моя бессонница»

\* \* \*

Не могу заснуть никак –  
грежу истиной.  
Выпал пульс мой - весельчак –  
экстрасистолы.  
Что случилось – не пойму –  
вроде марева.  
Как дневную кутерьму  
переваривать.  
Парашютом потолок –  
белым облаком.  
Сжал в тиски, собрал в комок –  
бросил в обморок.  
Как бы слёту не упасть,  
как бы выстоять?..  
Надо мною держат власть  
экстрасистолы.

\* \* \*

*Виктору Голинскому*

Мне много лет не приводилось  
спать беспробудно шесть часов,  
закрыв заботы на засов –  
чья это милость?..  
За что ко мне бестактно ночь  
своё низводит беспокойство?  
Её хроническое свойство –

лась через проход во двор. Вслед мне уже не слышно и без перебоев донеслось: «Спасибо...»

Двор был пуст. Наверное, произошло что-то важное, вроде приезда на соседнюю улицу старьевщиков, и мои друзья были там. От нечего делать я вернулась в комнату и неожиданно для себя попросила бабушку:

– Сделай еще хлебушка с песочком.

Она так удивленно посмотрела на меня, что я тут же – врать еще не научилась – все ей рассказала. Она как-то странно засуетилась, и теперь уже удивилась я. Бабушка умела делать всё на свете и всегда знала, как поступить. Пожалуй, это был единственный раз в жизни, когда я видела ее растерянной. Она отрезала большую краюху, достала из кастрюли с водой сливочное масло, в большую эмалированную миску вылила чуть ли не полкастрюли борща, туго и аккуратно закрыла миску крышкой, а чтобы та не свалилась, перевязала миску своей косынкой, в чекушку отлила водки из припасенной отцом бутылки. Потом взяла черную дерматиновую сумку, с которой ходила на рынок, сложила все туда, сверху сунула ложку, пачку папирос, коробок спичек и граненый стакан.

Мне сказала:

– Пойдем в магазин, соль кончилась.

Мы дошли до угла, где направо поворачивала улица к магазину, бабушка, оглянувшись, достала узелок, сунула мне в карман четвертинку, закупоренную кусочком капустной кочерыжки, дала стакан. Я полезла за сарай, и чтобы еще раз не испугаться, громко крикнула: «Это я!».

Я выложила снедь на влажные прошлогодние листья. Незнакомец подошел, по-особому присел на корточки, развязал узелок и аккуратно расправил косынку, как маленькую скатерку. В две затяжки вытянул папиросу. Ел медленно, смакуя, каждую ложку борща закусывал крохотным кусочком хлеба. даже я видела, как трудно ему сдерживаться.

– Так лучше наедаешься, – глаза его были вровень с моими.

Он вытер миску хлебной коркой, выдернул из горлышка капустную затычку, взял в руку стакан и долго

смотрел на прозрачные грани. Потом вылил в него всю водку и, не переводя дыхания, выпил одним длинным глотком. Глаза его потемнели, его затрясло, забило, он что-то кричал. Через много лет, работая в шарашке в Обнинске, где вкалывало много зекон, я видела такую реакцию на алкоголь у людей, которые много сидели в зонах. Он обнял себя руками за плечи:

– Тетради отобрали, сволочи. Тет-ра-ди!..

Когда пришла домой, бабушка уже вернулась из магазина. На столе лежал пакет с соевыми конфетами. Не дожидаясь обеда, она дала мне одну. Пришла бабушкина подруга, они о чем-то шептались, я улавливала только отдельные слова, они у меня никак не связывались друг с другом: «Университет, кафедра, труды...» И еще совсем смешное: «По рогам».

Не знаю, что в этих воспоминаниях осталось от детских представлений, а что оформилось уже потом, понятиями вполне взрослыми.

Но знаю, что все было именно так.

Отчетливо, до мельчайших подробностей, вспомнила я всё, когда бродила по вологодчине, лет через тридцать. В пустоватом деревенском сельпо на прилавке лежала одиноко фанерная коробка с соевыми конфетами, которых я не видела много лет.

Я уже знала, как Страна Советов поступала со своими учеными.

# ЯНА КУТИН

## СТИВ, СТЕЛЛА И ДИМА

*Всю жизнь удаляется, а не длится,  
Любовь, удовлетенья мгновенная дань*

Б. Пастернак

Им всем стало за тридцать, и потому они чувствовали себя ужасно старыми. У них были ведь уже дети, а некоторые успели сменить и брачные союзы. Подруга Стеллы приехала из другого города, они были с разных курсов и не виделись с институтских времен.

Подруга ходила по комнате и декламировала стихи:

По кухне Стелка мечется,  
Дети кругом сидят,  
Не Стелка, а метелка,  
Конь золотой в яслях...

потом сказала: «Помнишь, ты взяла нас в поход? Инга сразу соизалась, а я тебя обманула, что умею ходить на лыжах. Левка все останавливался, и мы подготавливали его лыжными палками. Он был в широком балахоне и мы прозвали его беременный букаш. Вечером встречаемся у Левки».

На Стеллу пахнуло ветром чего-то, про что она как бы читала. Но где-то оно все же, видимо, жило, где же?

«Придут Стив, Якен и Инга» «Я не знаю ни Стива, ни Якена» «Знаешь, и они тебя знают».

«Ну ладно», – сказала Стелла, и они пошли в гости.

Это была обычная квартира средней московской интеллигенции. В ней жили холостяки: Левка с отцом.

Веселый броский разговор, в компании у всех были свои прозвища, и они старались их оправдывать. Левка как был, так и остался беременным букашом, много шумел, жаловался, восторгался. Якен хохмил. Инга говорила что-то длинное, чего никто не мог дослушать. У Стива был ясный, быстрый взгляд, он радовался ком-

панин, словно только сегодня прозрел.

За едой долго не сидели, попили-поели, в другой комнате Стив уже что-то читал и рассказывал.

«Про что он?» – тихонько спросила Стелла.

Гордясь другом, Левка тихо ответил: «Он написал пьесу про лагеря – для театра» «Про лагерь? Не может быть! Можно мне посмотреть?» – также тихо сказала Стелла.

Но Стив поднял глаза от рукописи и сказал: «А я тебя хорошо помню, я ездил на трамвае, а ты опаздывала и бежала, чтобы догнать трамвай до следующей остановки. Вот такая ты была».

И Стелла стала еще тише.

Потом Якен ушел, и Инга ушла. Ляля и Левка убрались на кухне.

Стив и Стелла остались в комнате. И вдруг оттуда, из того, что где-то продолжало жить, всплыло неожиданно лицо Стива и с ним рядом другое. И Стелла спросила: «А кто это?»

Стив понял и ответил: «Не спрашивай. Может быть, это было лучшее, что я имел, но не надо про это».

Вот так и Алеша рассказывает про меня, подумала Стелла, один к одному.

Стив говорил, что все свободное время теперь он проводит в театре, знает актеров, которые будут ставить его пьесу. Это такой неожиданный выход в другой мир, и теперь ему трудно вернуться к геофизической работе.

«А как у тебя получилось написать пьесу?»

«Не знаю, откуда-то сама взялась и написалась».

А потом он тронул ее шифоновый шарфик, который служил ее единственным украшением, и сказал:

«Я тебя люблю. Можно мне тебе позвонить?»

Это было в первый раз, когда Стелла поняла эти слова не как откровение всей жизни, к чему была приучена воспитанием, а вот так просто, как говорят дети: «Я тебя люблю. Давай дружить».

И она стала ждать его звонка, и однажды он наконец действительно позвонил, и они пошли гулять в Сокольники. Был легкий солнечный день, он сказал, давай найдем место, полежим на травке. Что-то царап-

нуло нежную Стеллину душу, она сделала гримаску неприятия. Погуляли и расстались, и она опять ждала его звонка.

Однажды он настоял, чтобы она приехала к нему, она поехала с радостным ожиданием каких-то слов, но и этот день потом вспоминать не хотелось. Что-то было не так, как должно было быть – они встретились в дальнем районе, и оказалось, что это не его квартира, а его знакомого. И чужая квартира не поддержала их встречу.

Стив работал консультантом в издательстве, он дал ей все свои рабочие телефоны, звал просто заходить к нему. Это было недалеко от ее работы, и иногда среди дня очень хотелось именно просто поболтать с ним, но просто не получалось. А потом прошло время, неокрепшая связь между ними растаяла, и звонить для нее стало невозможным. Но была еще надежда, что он сам когда-нибудь позвонит.

А жизнь закручивала ее в свой бесконечный круговорот часов и дней: работа, аспирантура, детский сад младшего, школа старшего, командировки, отчеты. И снова: каникулы старшего, каникулы младшего, поездки на дачу, совещания, заботы о родителях.

Стелла временами поздно возвращалась с вычислительного центра. В таких случаях выйдя из метро она оказывалась на развилке дорог. По маленькой, переулку, было ближе, по большой – безопасней. Был день девятое ноября, послепраздничный день, на улицах казалось особенно темно и пустынно. Уютная днем маленькая улица напоминала черную дыру, в которой можно бесследно исчезнуть. По большой улице в свете фонарей неровным шагом шел человек в пальто. Стелла убыстрила шаг и уже прошла было мимо, как он окликнул: «Девушка, можно мне с вами?» Она посмотрела молодой. «А то мне очень плохо». «А что случилось?» – спросила она шуткой. Тот ответил серьезно: «Меня моя девушка прогнала».

Он закурил, Стелла увидела длинные белые кисти его рук и подумала, что он не страшный, выпил немного, и что если им по дороге, то лучше идти с ним, чем одной.

«Почему?» «Не хочет, не нравлюсь я ей». «Ну передумает», сказала Стелла, «или другая найдется». Он не принял ее тона, и как-то подавленно и торопливо сказал: «Нет, теперь у меня больше ничего не получается».

Стелла не знала что сказать. «Где вы живете?» Оказалось по соседству. «А вы где?» «А я там дальше». «Я провожу вас». «Да нет, это я вас провожу, мы сперва пройдем мимо вашего дома».

«Вас как зовут?» «Света». «А вас?» «Дима. Почему вы так поздно идете?» «Мы, я, – запнулась Стелла, – делаем программы, а на вычислительном центре свободное время всегда вечером». «А кем вы работаете?» «Кем?.. ну, программистом, не слышали?» «Не слышал. А я работаю наладчиком на заводе».

Так они шли и прошли сквер и больницу, свернули с освещенной улицы в темноту переулка. Здесь все дома были как знакомые. Здесь уже можно было бежать ближним двором, который она считала за более дружественный, но они шли дальше.

«Вот мое окно, – сказал он, – там мать меня ждет, беспокоится, наверное».

Стелла удивилась, в этом подъезде в детстве играли в прятки, потом жила девочка из школы, потом жил мальчик-приятель сына – и вот он, оказывается, тоже живет в нем. Махнула ему рукой на прощанье и побежала в темный проходной двор, не подавая виду, что страшно.

Утром вспомнила, а где окно? Окно было на ее утреннем пути.

Окно выглядело неудобно, оно было будто заколоченное. Сколько раз ни проходила мимо – ничего, никакого следа того Димы. Взяла и написала записку, что дескать если хотите, вот телефон; зашла в подъезд и бросила в тот почтовый ящик, который показался ей примерно относящимся к тому окну.

Он позвонил не сразу, прошло время, она уже забыла и удивилась чужому голосу, в котором не было отвечающего случаю шуточного тона, и против голосов друзей он был скованнее и беднее. «Как же вы не побоялись, ваш телефон мог найти кто-то другой, так

нельзя делать». Но все же они как-то договорились и встретились, хотя шуточного разговора и при встрече не получилось.

За всем этим наступила зима и однажды Стелла пригласила его в гости. Он пришел. Чудной парень. Что-то есть в нем или просто не все дома? Впрочем, это же тривиально – если все на месте, там, где надо, то это бесцветно, ординарность. Но дома было все же легче, посидели вместе с детьми на кухне, старший взглядывал на Диму веселыми глазами, но удивленья не выдавал, отвечал на вопросы.

Дима сказал: «Спасибо, ты помогла мне, я этого не забуду».

И, мол, я к тебе десять раз теперь приду, если понадобится, я такой.

И вот как-то возвращаясь с работы, она вышла наверх из метро на закатный солнечный свет, невольно зажмурясь. Откуда ни возьмись подошел Дима, взял из ее рук сумки, проводил до дому. Она шла в разное время, то торопясь, то рассеявшись, и удивлялась, когда около оказывался Дима. Дима же стоял всегда на противоположной стороне у домов и ждал, ему нравился этот миг, когда толпа распадалась, и он видел ее, Свету.

Однажды он сказал: «А если я хочу, чтобы ты была моя любимая девушка?»

Стелла хотела пошутить Лялиной приговоркой: «Разве не видно, что я не девушка?», но она уже знала, что Дима этого не поймет.

И как-то она сама сказала Диме, чтобы он остался у нее. Он не хотел, но все же остался. Она говорила ему ласково, ну вот видишь, а ты говорил. И когда бы ни открыла глаз, видела свет, льющийся с его лица и думала – не дай Бог мне погасить свет, нежность, серьезность этого лица. Когда ты целуешь меня – твоего озаренного лица. За что мне это, Димка?

Дима воспринимал мир слов как мир лжи. «Давай побудем три минуты молча», – говорил он.

А потом говорил: «Надо идти, мать опять будет ругаться, что я теперь поздно прихожу».

И тогда Стелле пришло в голову, что его мать ведь

ее соседка.

По телефону разговоры всегда не очень хорошо получались, Дима звонил из автоматов, и трудно было придумать, что делать вместе. Может, пойти в кино?

Стелла сказала: «Хорошо, только ты неходи во двор, жди меня на улице».

Дима стоял на зимней улице, он был как замкнутый и спросил: «Почему не подходить к дому?»

«Ну зачем лишний раз на глаза показываться, сплетников много, будут говорить, что ко мне ходят».

«Ходят?» — переспросил Дима.

Разговор завис, и в кино они конечно не пошли, тем более, что оба были неуверены, что там им будет хорошо. Походили по снежным улицам и расстались.

Временами Стелла ловила себя на том, будто спорит с кем-то: ну и что наладчик, ну и что на десять лет моложе?

Дима же однажды, заранее радуясь общему делу, спросил, не напечатает ли она его курсовую работу, он учился в техникуме. Листов оказалось на профессиональную машинистку. Может, он решил, что программист и машинистка одно и то же? А ведь она и так головы не поднимала от бумаг.

Или как-то вечером открыла на звонок, и за дверью был Дима, он был взволнован, потерял деньги, и пришел попросить у нее на пару дней взаймы, чтобы не говорить матери. В доме как раз гостил тесть. Дима заметил ее смущение, она была совсем другой. И вправду, она была ошеломлена его появлением, словно столкнулись две до тех пор несоприкасавшиеся вселенные.

После этого отношения стали еще более усложняться.

Наступила весна. Объявился Стив, звонил, объяснял, что работы очень много, пробы, репетиции, выставки, доклады. «Завтра» «Нет, не могу. Не могу никак завтра». «А в пятницу?» «Не знаю, кажется тоже нет». «Давай договоримся так — я позвоню тебе в четверг». «Хорошо. Хорошо, но наверное, меня в четверг не будет».

Дима чудной говорит: «Мне было все все равно, меланхолия, а генерь прошло благодаря тебе. А что, те-

перь у тебя тоже?»

И Стелла попросила кого-то в себе – не развевай чары Димы. А Дима ведь больше уже не встречал ее у метро.

Наступило лето. И опять звонил Стив. В один июньский белый вечер им наконец удалось сговориться. Гуляли, разговаривали – на улицах, с фонарями, светящими сквозь узоры листвы, шорохом города, смехом прохожих, было так хорошо. Разговор их был как море, в которое хотелось плыть. Разговор был как утоление жажды.

В один вторник Стив пригласил ее в кафе, потом шли старыми улочками Арбата, он показывал школу, в которой учился, и в одном переулке сказал – сюда. Стелла удивилась, что здесь его дом и что он ведет ее в свой дом. Он достал ключи, отворил дверь и провел ее через коридор в небольшую комнату. Половину занимала широкая тахта, а на полу и подоконниках лежали бумаги и книги, книги и бумаги – как у меня, подумала Стелла.

Впережку там лежали хрестоматия сценического искусства, история культуры и квантовая физика. Стелле хотелось спрашивать, вопросы не удавались, но Стив все равно понимал и отвечал подробно и обстоятельно. Его разговор отличала легкость образованного человека, все слова которого одновременно и всерьез и в шутку.

Он мало спрашивал о ее жизни, только однажды не то спросил, не то сказал: «Ты способная?»

Из-под одеял, на которых они лежали на гахте, выпалили листы с эскизами и формулами. Стелла сказала: «Я действительно очень способная. Если я захочу, я буду или писателем или художником. И все это начинаю не со вчера, а с сегодня. И даже, если захочу, например, рекордсменом мира по теннису или водным лыжам». «Значит ты еще очень молода», промолвил Стив.

Стелла сама удивилась, что так ответила. Может, ей не хватало его внимания? Не доставало сосредоточенности на ней? Он не впускал ее в свой мир – чувствовала она себя около него Димой?

В такой же вечер однажды Стив взялся философствовать о женщинах. Что привлекательность женщины надо оценивать в метрах и будет она измеряться вот таким графиком – нарисовал импульс, начинающийся в нуле и затухающий на бесконечности. В том смысле, что за каким-то пределом, метры, сантиметры, наружность уже не имеет никакого значения.

Стелла потрогала книги, ей вдруг захотелось уйти в них. Она открывала их одну за другой и неожиданно для себя прочла: «Увы, такова жизнь; всякий, кто погрывает с кругом образованных людей и перестает обмениваться с ними мыслями, в конечном счете теряет способность к такому общению». Посмотрела на обложку – Альфред Нобель. – «Это про меня», – промолвила она шутливо, напрашиваясь на возражения, но Стив не ответил. Он был где-то далеко.

«Это именно мой вопрос, – неожиданно с горячностью продолжила Стелла, – круг образованных людей это каста. Как проникнуть в него? Стал бы ты разговаривать со мной, если бы...» – Стелла не закончила, он казалось ее не слышал.

«Если бы я не любила тебя», – добавила она тихо.

Но нет, Стив лежал уже, облокотившись на руку, смеясь смотрел на нее и говорил: «Конечно, мы своих женщин в экспедиции никогда не заставляли работать».

В тот вечер все, что Стелла делала, происходило автоматически, без участия ее сознания: спускалась по ступенькам, входила в вагон, выходила из вагона. Все заслоняло чувство, которому она не умела дать имени. В сущности, он не сказал ничего плохого, ведь, когда мы знаем человека, мы перестаем ощущать его глазами. Может быть, он говорил с ней просто как с другом-мужчиной? Может быть, он слишком исполнен себя? Самоуничтожение любви – Цветаева?

Она вышла из метро и стояла как когда-то опять на развилке дорог.

Дима. Она вспомнила его лицо. Когда он наклонялся к ней, тот льющийся свет. Откуда же брался свет? Когда он начинал говорить с таким лицом, казалось, что в нем живут два разных существа. Может быть, надо было считать, что его околдовал злой волшеб-

ник, и он когда-нибудь снова заговорит?

Не надо, попросила она кого-то в себе, не развеивай чары Стива.

Уже повернуло на осень. Со Стивом они виделись редко и однажды, встретившись после работы, долго шли набережной, подгребая желто-красные листья. Когда пришли, ей хотелось есть или хотя бы попить, а ему не хотелось вставать, и он сказал – пойди, принеси нам обоим что-нибудь из кухни.

Стелла впервые без него вышла в коридор и нашла кухню, она была маленькой и принадлежала как бы другому миру. На всех ее стенах висели открытки, картиночки и детские поделки. Не так прагматично как у нас, подумала Стелла, нашла холодильник, вынула что-то подходящее, нашла поднос и хотела уже возвратиться в комнату, как ее внимание привлекла еще одна рамка – с дощечкой из грубоватой глины и глиняными же буквами. Стелла подошла ближе, чувствуя, что делает что-то бестактное – неровные буквы сложились в надпись: «папочка, я тебя люблю». Как же это сантиментально, опять подумала она.

Говорят, что вода хранит память обо всем происшедшем. Может быть, голова Стеллы была из воды, и вода изменила свою структуру? Буквы, казалось, были живые, как будто их только сейчас для нее скатали и прилепили.

Она вошла в комнату. Стив уже вставал, одна рука в свитере, другая листает страницы книги.

«Ну нашла?» – спросил он, – «вот и хорошо, поешь».

Стелла знала, что она близорука и потому мир рисовался ей то общими мазками, то поражал подробностями. Могло ли это быть на самом деле или ей показалось, что пальцы руки Стива, листавшей книгу, дрожали?

Стив проводил ее как всегда до метро. Было очень тихо, арбатские переулки спали. На бульваре пахли ночные цветы.

«Стив. Стив, я больше к тебе не приду», – сказала Стелла про себя. Но Стив услышал.

Он больше не звонил ей.

Когда-то потом, спустя много лет, он увидел ее

случайно в большой компании, вобрал как прежде всем взглядом, тихо погладил по груди и сказал: «Господи, как же давно мы с тобой не видались! Позвони мне».

А в эти дни позвонил Дима. Стелла обрадовалась, милый хороший дружелюбный мальчик, и болтали они так легко и все смеялись. А потом он внезапно бросил трубку. И она расплакалась и плача все спрашивала себя: за что, такое было хорошее настроение! На самом же деле настроение было плохое и именно это она пыталась скрыть под тем тоном, который совсем не подходил для разговора с Димой.

Ведь разговор был такой.

Она сказала: «Скажи мне что-то хорошее, приятное, я ведь тебе говорю, тебе же приятно?»

А он ответил: «Мне все равно».

«Ну раз все равно, не звони, зачем же ты звонишь?»

«Ну бывай», – он сказал и бросил трубку.

Стелла расплакалась, за что? Что она сделала ему плохого? Но жизнь с ее сменой зим и лет неслась могучим течением, то бьющим о камни, то выплескивая теплой волной на песчаный берег.

И вдруг однажды Стелла выплыла из течения. Она шла вечером с работы и в руках, как всегда в пятницу, держала сумки, в одной из которых лежали книги и папки, а в другой продукты. Она выпрямилась и увидела окно – за розовой занавеской горела настольная лампа. Или это было другое окно, или они переехали.

«Сколько же лет прошло?» спросила она себя.

Утром в понедельник, оглябая тот дом и уже выходя на улицу, она с удивлением внезапно увидела впереди человека, который ласково махал кому-то в том окне. Она видела это как картину: человек идет спиной вперед и все кланяется, и лицо его озарено.

И еще вскоре случилось так: она только что перешла улицу перед тем домом, и тихо и задумчиво пошла зеленым переулком, вдыхая запахи и тишину раннего утра, как кто-то осторожно тронул ее сзади за рукав, она подняла глаза – это был Дима.

Дима шел рядом с ней и говорил: «Света, я хочу тебе сказать, я женился, у меня есть ребенок, я так счастлив

И я за все благодарен тебе».

«Я рада за тебя, Дима, спасибо».

«Нет, это тебе спасибо, это ты, все ты для меня сделала».

И понимая, что им трудно говорить дольше, Дима прошел немного рядом с ней и перешел на другую сторону улицы. И исчез – ведь он был не из этого пространства. И окна не стало. Во всяком случае Стелла больше никогда окна не видела.

# СЕМЁН ЛУРЬЕ

## БЕРЛИНСКАЯ ОСЕНЬ

Думал я, что Берлин украшает весна,  
стужа зимняя, знойное лето,  
но он осенью много краше, она  
с неизменным приходит приветом.

Романтичным становится весь его вид.  
Шпиль кирх облака подпирают.  
Забываешь о горестях многих обид –  
сердце их замечать не желает.

Только осень способна украсить его –  
он наряд её с радостью носит.  
В том наряде и вкус её, и мастерство –  
вся палитра, что дарит нам осень.

Я страдаю от козней весенних, увы,  
осень их на корню своём косит,  
лечит мягким лекарством весенней листвы,  
что приносит берлинская осень.

## СТОРОНА-СТОРОНУШКА (Русский мотив)

Сторона-сторонюшка  
ко всему привычная,  
до конца исхожена  
вдоль и поперёк.  
Летом земляничная,  
в зиму запорошена,  
поле моё, полюшко –  
сердца уголок.

Сторона-сторонушка,  
милая и злая,  
гнев и радость смешаны,  
словно кровь с вином.  
И проступки грешные,  
и слеза прозрачная,  
с радостью и с горестью,  
с добротой и злом.

Сторона-сторонушка,  
вечера прощальные,  
жар души застольная,  
ночь, как день светла.  
Потянули к волюшке  
новости печальные,  
И тоска невольная  
грудь заволокла.

Сторона-сторонушка,  
проводы сердечные,  
вновь неожиданно ожила  
стонами в груди.  
Поделилась горюшком,  
жалобами вечными.  
Сердце растревожила,  
но в другой стране.

### ЗАРОСШИЙ ПРУД (романс)

Заросший пруд. В аллеях сада.  
С эстрады музыка плыла.  
Была ты бесконечно рада  
и удивительно смела.

Летели сказочно мгновенья.  
Тенистый сад дарил уют.  
Нас укрывал в кустах сирени  
от лишних глаз заросший пруд.

О том, что станет день прощальным,  
мы не могли гадать тогда.  
Но музыка плыла печально  
и опускалась у пруда.

Заросший пруд - наш друг давнишний  
всей памяти моей залог.  
Шутливый тон и смех твой слышу,  
сквозь вёрсты пройденных дорог.

Недавно пруд увидел снова,  
да только не в краю родном.  
Воспоминания бывшего  
с тем, прежним связаны прудом.

Незабываем пруд заросший,  
аллеи сада. Мы одни.  
Пусть эти дни остались в прошлом,  
но как мне дороги они.

### ОДНОКУРСНИКАМ

(дальневосточная-бардовская)

И вновь призывают дороги.  
И вновь призывают дороги  
в Израиле или в Берлине,  
в Воронеже или в Москве.  
Пока ещё держат нас ноги,  
Пока ещё держат нас ноги,  
да только удастся ли ныне  
себя перегнуть в удалестве.

Когда позовёт нас тревога.  
Когда позовёт нас тревога,  
тогда мы и встретимся вместе,  
забудем про возраст и срок.

С последнего в жизни порога.  
С последнего в жизни порога,  
со старой студенческой песней  
вернёмся на Дальний Восток.

Название «Рога златого».  
Название «Рога златого»  
на пристани Владивостока  
без слез прочитатъ я не смог.  
По-братски обнимемся снова,  
По-братски обнимемся снова  
за горизонтом далёким  
на перекрёстке дорог.

И сразу исчезнет усталость.  
И сразу исчезнет усталость.  
Нам станет не так одиноко.  
Я в это поверить готов.  
Допьём мы вино, что осталось.  
Допьём мы вино, что осталось,  
за службу на Дальнем Востоке –  
за верность ему и любовь.

# СТАНИСЛАВ ЛЬВОВИЧ

## ТОРГОВЛЯ С ПАНЕЛИ

Возьмите стихи! Прочитайте! Бесплатно!  
Прочтите и не возвращайте обратно...  
Прошу – познакомьтесь с моею Душою...  
А рядом – вот – Сердце: такое большое!

Оно вам понравится...Доброе очень...  
Слова неуклюжие не опорочат...  
Есть пара острот. И они не замшелые...  
И рифмы – мне кажется – даже умелые...

Возьмите. Возьмите! Возьмите! Возьмите.  
Лишь мимо, пожалуйста, не проходите!  
Ходят прохожие, как и положено...  
Проходят прохожие...Хмуро и строго...

«Видите – плохо дорога проложена!  
Можно ль ходить по разбитой дороге?  
Сердце своё – уберите обратно!  
Если больное – смотреть неприятно...

Пенсию, слышали, снова урезали,  
А телефоны...Да что вам рассказывать...  
Вам бы стихи по народу разбрасывать  
И по проблемам душевным размазывать...»

Так проворчали... И – крылья подрезали...  
Поэт на панели стоит и тоскует...  
Поэт за полушку стихами торгует...  
Рядом – Россия торгует с панели...

«Лес и алмазы!» Смотри – налетели!  
«Всё за копейку...Только берите!  
Бомб и ракет, господа, не хотите:  
Можно – наличными... Можно – кредитом...

Стихи вам нужны?! Нет, увы.. Извините!»

## ПОЧТИ СОНЕТ

Вся наша жизнь – что горная гряда,  
Где мы шагаем от вершины до вершины...  
За нами – плодородные долины,  
Над нами – Вечность – как всегда...

И каждая вершина – десять лет,  
И к каждой мы подходим осторожно...  
И лишь вперед! Назад дороги нет.  
И не найти дороги ложной!

И спутников всё меньше. Каждый шаг  
Даётся нам труднее. Но безопасно  
Мы разгружаем наш рюкзак,  
Не думая о пропитаньи вечном...

Был крут подъём...И спусков нет пологих...  
Но мы спешим – хоть плохо ходят ноги!

## ДРУЗЬЯМ-ПОЭТАМ (почти гетаке)

«Друзья мои! Прекрасен наш союз!»  
Он нас собрал в чужбине дальней...  
Увы, нет участи печальней,  
Чем разрушенье давних уз!

Нас приютил казённый дом...  
Всех одарил жильём и пищей!  
И всё же нишу каждый ищет,  
Чтоб душу не утратить в нём!

И Муза СЛОВА нас свела!  
И, ритмом рифму подгоняя,  
Мы ностальгию утоляем...  
Чудны Твои, о Господи, дела!

И я банальностей великих не боюсь:  
«Друзья мои! Прекрасен наш союз»

## ЮБИЛЕЙ ПОЭТА

Опять солидный юбилей!  
Всё больше дней – всё больше строчек!  
И ощущается елей,  
Хоть сердце с перебоем строчит!

И память подводить не хочет,  
И всё подбрасывает вскачь:  
И рифмой сорванные ночи,  
И смех удач, и тихий плач...

И тихо-тихо предо мною  
Бредут мои герои строк,  
Держа огонь в своих ладонях,  
Твердя заученный урок

Один и тот же! При лучине  
Я их на нитку нацепил,  
Словам и мыслям научил...  
И, Бог простит, так получилось!

Я их люблю... Их не забыл...

## ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ

Опять пять тридцать...Сна всё нет...  
Рассвет вот-вот в окно прольётся,  
А в голове один сюжет,  
Как мотылёк, кружит и бьётся!

Я воплотился в чьё-то тело  
И раздвоился: мир иной  
Открылся! В нём я неумело  
Брожу, как странник! И со мной

Общаются иные Некто,  
(Я их пока не узнаю),  
И свет иной имеет спектр,  
И запах чужд мне! Так в Раю

Пришельцы новые, наверно,  
С боязнью жмутся вдоль оград,  
И каждый рад, что минул Ад,  
Но боязно шагать неверно!

Что будет дале, я не знаю!  
Другой сюжет иль новый сон?  
Дневных забот без дна и края...  
Но жизнь и сон – всё – в унисон!

### PRO MEMORIA

Река течёт неторопливо,  
Слегка касаясь берегов,  
Кружа по кручам, рощам, нивам,  
Неся свеченье облаков...

Село открылось... Избы хором...  
Под красной крышей белый дом  
И церковь. Кельи. За забором  
Погост...И липы. Тишь кругом...

Под серым куполом колонки...  
Над ними потемневший крест...  
Моя Каширская сторона!  
Я тоже житель этих мест!

Я здесь бродил, ветвей касался.  
В тени твоих нагих берёз,  
Упав в траву, я наслаждался  
Мерцаньем отдалённых звёзд.

И жил!! Как облако в лазури,  
Бесшумно двигаясь в закат...  
Ах, детство, детство! Милый дурень!  
Ну хоть на день вернись назад!

### РОМАНС

Рояль в чехле, и клавиши в ремонте...  
Умолкла музыка, казалось – навсегда...  
Застыло всё! Ушедшие года  
Напоминают только ноты...

Романс старинный, нежный и печальный,  
Ещё чуть слышен, впрочем, не всегда...  
Цветов уж нет, что – также – не беда...  
И я молчу – как в давний день начальный...

Тогда Вы были...в платье золотом...  
Под цвет шампанского и под окрас заката...  
Как будто Вы с рекламного плаката  
Сошли на миг – и растворились в нём...

Рояль исправлен – новых клавиш чутких  
Коснулась чья-то нежная рука...  
Другие дамы – цвета молока –  
Сюда зашли случайно, на минутку...

### IMPESSION

( мотив картины Claude Monet )

Опять на бухту лёг туман...  
Как будто дымною завесой  
Упрятал в свой густой карман  
И пляж, и волны. Остров с лесом.  
И скрыл, как белых лебедей,  
Усталых яхт немую прелесть...  
Рассвет. Нет солнца. Нет людей.  
Фотографирую не целясь!  
Из дымной кручи силуэт  
И перекрестья матч баркаса  
Выносит ветер... Звуков нет.  
Лишь шелест волн...  
Вдруг гулким басом  
Спугнул всю нежность сухогруз...  
Он где? Вдали? Сказать боюсь...  
Но сказка кончилась. И вот  
Из моря солнце восстаёт!

### КАКОГО ЦВЕТА ОБЛАКА?

Прищурься на момент. Слегка!  
И постарайся разглядеть  
Огнём расплавленную медь!  
Свинец, стекающий струёй,  
И лисий хвост, и мех густой.  
С палитры пёструю «фузу»  
Дай небу в синюю грозу!

Персидской синей бирюзы,  
И пух ангорский от козы...  
А уходящий солнца луч  
Из-под мохнатых синих туч  
Украсит тонкой кисеей  
Остатки тучи грозовой...  
И эта странная краса  
Живёт каких-то полчаса  
А дальше – ночь, а в ней своя  
Палитра красок без огня!

\* \* \*

Вода лежит, лениво млея,  
Лениво шевеля волной...  
Дрожат подводные аллеи,  
Дрожат под солнцем и луной...  
Прибрежный воздух чист и свеж,  
Насыщен йодом и озоном...  
Здесь городского нет трезвона,  
И мы сидим, как будто меж  
Воды морской и небом хмурим,  
В песке полпятки утопив,  
И созерцаем весь залив,  
Как будто с водной каннелюрой!  
На нас нацелен нос фрегата.  
За ним другие паруса  
Истрят в волнах. Плывёт регата,  
Вся преломляясь в небесах!

# ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

## У БЕРЛИНСКОЙ “НОВОЙ СИНАГОГИ”

Нынче Ближний Восток  
лишь в минутах езды от меня –  
там, где в небо вздымается  
купол былой синагоги,  
где, сплетаясь высокой решёткой,  
стоят вдоль дороги  
мрак от ночи ушедшей  
и отсвет грядущего дня.  
Дождь идёт, и спокойно  
осенний кружится листок,  
и казалось бы, здесь  
от тревог далеко-далеко я.  
Отчего же душа  
всё болит и не знает покоя? –  
Броневик у дверей!  
Беспокоен мой Ближний Восток.

*Ноябрь 2001*

## ВОЗМОЖНО, ЧТО ДЛЯ ЭТОГО Я ЗДЕСЬ

*Зачем я здесь?* – в стране, где мой народ,  
к небытию навек приговорённый,  
сгонялся в безнадёжные колонны,  
с тем, чтоб вступить под крематорный свод.

Где, словно параноией поражён,  
сумел прорваться к власти бесноватый,  
из-за кого черны от крови даты,  
и жутко то, к чему стремился он.  
Но сгинул он, и не сыскать костей,  
а я иду Берлином обновлённым,  
вокруг меня старинные колонны,  
и *здесь* еврейских вижу я детей.

## К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### В ИЮНСКОМ ПОЛУСНЕ

Здравствуй,  
лев величавый на ступенях крыльца!  
Не встречал ты в саваннах такого дворца?  
Не видал до краёв наводнённой Невы? –  
на безводных просторах охотятся львы.

Здравствуй,  
конь легионный над Фонтанной рекой!  
Позабыл ты давно вольный бег и покой,  
меж степных облаков золотистый просвет? –  
смотришь бронзовым глазом на Невский проспект.

Здравствуй,  
зверь небывалый – златокрылый грифон!  
Отраженьем собора колышется фон,  
и волнистая тень золотого крыла  
на зеркальные воды канала легла.

Помню,  
было однажды – востепенулась листва,  
озарился наш город огнём волшебства,  
лев тяжёлою лапой коснулся воды,  
конь промчался проспектом без седла и узды,  
и грифон распахнул золотые крыла...  
Светоглазая ночь подвечно плыла.

### НЕВСКИЕ НАБЕРЕЖНЫЕ

Среди прозрений и смятений  
лежат божественные гени  
и торжествует вечный гений  
на грани снов и бытия,  
в том городе, где ты и я ...

## ВАСИЛЬЕВСКИЙ ОСТРОВ

Таинственный старинный остров,  
ты рассекаешь стрелкой острой  
глубины тёмные Невы  
и в редкий отблеск синевы  
вплетаешь стройные колонны.  
Ты, словно флагман, благосклонно  
вершишь торжественный свой ход,  
и красит солнечный восход  
дворцовых крыш цветные склоны.

## ЮНОША С КОНЁМ НА АНИЧКОВОМ МОСТУ

Обнажённый  
под ветром стоит на мосту.

Напряжённый  
ведёт он коня в поводу.

Преклонённый  
перед ним на коленях стоял.

Вдохновлённый  
поднялся и коня обуздал.

## ПРОШУ ТЕБЯ

Неласков ты и холоден со мной.  
Какая твёрдость – северный гранит!  
И взгляд твой, непреклонный и прямой,  
что выражает, помнит и хранит?  
Мелькнёт ли вновь улыбки зыбкий луч  
сквозь отчуждённость строгого лица –  
условный знак, забытой тайны ключ –  
надежда без начала и конца?  
Ведь были ночи солнечнее дня,  
Нева играла светлую водой,  
Ты, молодую, баловал меня,  
стелил коврами свой асфальт седой...  
Ты не прощаешь слабости людской,  
но я прошу, прости и обогрей,  
не оставляй одну с моей тоской...  
Мужчина–город, будь ко мне добрей!

## НЕБО ТОЙ БЕЛОЙ НОЧИ

Лениво  
синие лохмотья  
свои  
сбирала ночь.  
За крыши  
медленно спускалась  
сияя,  
полная луна.  
А на Востоке  
грёзой новой  
вставала свежая  
заря,  
румяня облака...  
Светлело небо.

## ПЕСНЯ РАССТАВАНИЯ

На Расстанной улице  
оказались мы...  
Что так небо хмурится,  
как в канун зимы?  
Вспоминаю с грустью я  
Поцелуев мост.  
Весело похрустывал  
солнечный мороз.  
Как нам было молодо  
в прошлые года!  
Не боялись холода  
мы с тобой тогда.  
Нынче небо хмурится,  
как в канун зимы.  
На Расстанной улице  
расстаёмся мы.

# АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ

## ЦВЕТЫ БЕЗ ВИЗИТКИ

Он сидел в одиночестве во главе, сервированного на пять персон, стола. Вот она – его семья. Мысленно, он не уставал напоминать жене, сыну, дочери, что всем, абсолютно всем они обязаны ему: «Не верьте тем, кто внушает вам, что в этом мире чего-либо можно достичь самому, благодаря лишь своим способностям. Чушь! – Удача! Только она. Выигрышный билет! Божий промысел, если желаете! Ну, и не самую последнюю роль может сыграть родительский кошелёк. И потому я требую...» Он прервал внутренний монолог и прислушался, не поднимая глаз от еды. Вилки и ножи молчали. Он не услышал звона бокалов. Даже в день его юбилея они забыли о нём. А может назло не пришли? О-о! Он давно уже понял, что воюет сам собой, оперируя не реальными событиями, а фантомами, потому что для детей – его как бы и не было. Вспомнилось время, предшествовавшее тому, когда жена оставила его, так и не простив ему гибели младшего сына, не выдержав постоянной «холодной» войны и двух его хобби: страсти к работе, к фирме, выпестованной с колыбели, и страсти к коллекционированию, хобби, благодаря которым он перестал быть просто человеком, превратившись в символ. В то время сын и дочь, по крайней мере, один раз в месяц приезжали на семейный обед, который он сам зачастую пропускал, считая это пустой тратой времени. Ведь он мог его потратить с большей пользой, приобретя антикварную чашку с блюдцем середины XVIII века или, скажем, именные канделябры герцога и герцогини де Гиз. И теперь страсть к собирательству не утихла, но от дел он давно отошёл. Ни разу не переступил он порога своего офиса с тех пор, как передал фирму сыну. И не для того, чтобы уступить тому дорогу в бизнесе (контрольный пакет он оставил за собой), а лишь с единственной целью: цели-

ком отдался этой всепоглощающей страсти – коллекционированию. Правда, в глубине души он был уязвлён: ни разу сын не прибегнул к его помощи, к его совету. Это было малоприятно, но фирма действовала вполне успешно и, следовательно, его «школа» не прошла даром.

Он продолжал есть, переходя от блюда к блюду. Он был один. Приходящего слугу отпустил, избегая свидетелей своего одиночества. Не поднимая глаз, упорно не смотрел в сторону дальнего от себя прибора. Это место принадлежало младшему сыну, когда-то сильно нуждавшемуся в его, если не сочувствии, то хотя бы финансовой помощи. Впрочем, он отказал и в том, и в другом. Мальчик обиделся. Уехал на какие-то острова. Ну, а потом там что-то случилось и домой он вернулся в цинковом гробу. Да! Это не оставило его равнодушным. И он заставил себя забыть... Вычеркнул из памяти: этого не было... Никогда... Если кто-то не желал принимать правил его игры, в чём же его вина? Теперь он был один: сегодня, вчера, позавчера... Одиночество, которое он именовал уединением, не тяготило его. Неприятной была лишь мысль, что правила своей «игры» теперь соблюдает только он.

Он резко встал и, не глядя на стол, прошёл в кабинет. На письменном столе красного дерева лежала книга – XVIII век. Он осторожно перевернул несколько страниц. Нежно поглаживая фолиант улыбнулся, вспоминая, как долго охотился за ней. Его взгляд любовно перемещался от предмета к предмету, за каждым из которых стояла история и долгая кропотливая работа, порой хитрость, чтобы они, наконец, заняли подобающее им место. Только один предмет в кабинете был из сегодняшнего времени – компьютер. Он подошёл к нему и просмотрел почту. Ничего особенного. Письмо из издательства по поводу его мемуаров. Вот это – от старого друга (если у такого человека, как он, мог быть друг), которого он не видел много лет. А вот – от детей. Так они не забыли! «Поздравляю, отец» – лаконично извещало послание сына. «Я люблю тебя, папа» – писала дочь. Всё-таки дочь была его маленькой слабостью. С нею он всегда был мягче, нежели с осталь-

ными. Могла бы и захватить в такой день, но спасибо и на этом.

Он прошёл в спальню, переоделся и вышел на улицу. Любил вот так, в одиночестве пройтись по бульвару, зайти в бар и выпить рюмку-другую. В душе он совсем не чувствовал себя стариком, был элегантен и создали его вполне можно было принять за молодого человека с седеющей шевелюрой. Немного побродив, он вернулся домой. Консьерж вручил ему букет белых роз без визитки, оставленный кем-то. Он решил, что это бывшая жена. Нет... Кажется она умерла несколько лет назад, вспомнил он. Кто же? Кто прислал цветы? Он поднялся в квартиру и оставил их на кухне. Миновав столовую и стараясь, как и прежде, не замечать нетронутые столовые приборы, он прошёл в гостиную. Здесь висели любимые картины и он надолго остановился перед ними. Затем достав из жилетного кармана ключик, открыл одну из витрин и взял в руки чашку тончайшего фарфора. «Какая работа», в которой раз восхитился он. И хотя он ничуть не сокрушался, что все эти вещи радуют только его, ему было бы приятно продемонстрировать детям свои новые приобретения.

Он поймал себя на мысли, что не заметил сколько времени простоял вот так, с чашкой в руке. Он как будто уплыл куда-то... В комнате уже стало темно. Что-то теснило ему грудь, в ушах стоял звон, он задышался. Рванув ворот рубашки, он... проснулся от дребезжания будильника. Так всё это приенилось ему? Он рассмеялся - стало легко и спокойно. Бросив взгляд на календарь, вспомнил - ему сегодня семьдесят пять. Приняв душ и тщательно одевшись, приступил к обычному утреннему ритуалу - просмотру своей коллекции.

В кабинете, подойдя к компьютеру, просмотрел почту. Письмо из издательства по поводу его мемуаров. Письмо от друга, с которым он давно не виделся. Письма от детей. «Поздравляю, отец» - писал сын. «Я люблю тебя, пана» - писала дочь. Ему стало не по себе. Что-то тревожное шевельнулось внутри. В горле пересохло и, выйдя на кухню выпить воды, он увидел, разбросанные на полу, белые розы. Он ничего не понимал... Впервые не понимал... Последнее о чем, падая,

успел подумать: «Кто? Кто же всё-таки прислал эти цветы?..»

## ПЯТЯ

— Эта докторша опять крутица на каблук. Знов бижить на свою парсобранню. Шо йим там, как намазано? Шо йим муж, рабёнки? — брюзжала Аделя за спиной у моей мамы, которую, когда сердилась, иначе, как докторшей не называла, говоря о ней в третьем лице.

Мама, всегда независимая, но с Аделей, обычно, терпимая, в меру сил оправдывается:

— Это партийно-общественная работа. Понимаете? Общест-ве-нна-я!

— Шо ви мне «общественная, общественная», — не унижается Аделя. — У вас — сима. И хлебом не корми — дай только на парсобрани посидеть.

Ну что Вы хотите? — не выдерживает мама. Она не повышает голоса, но в нём уже проскальзывает раздражение. — Вы хотите, чтобы меня вышвырнули с работы? Думаете, что у меня есть силы возвращаться сейчас обратно? Я приняла сегодня около тридцати больных. После смены прибежала домой, помогла Вам с обедом, замочила...

— О-о! — гремит Аделя. Как и вам это наравица? Ну, я и вас спрашиваю? Они вже мне обед наладили. А било бы лучше, шоби ви не зъявлялися на кухне зовсем — усе суседи разбигаюца. Шо ви йими командаваете? Они вам не санитарки. На Аделю можна командавать. Аделя — вбирай! Аделя — по очередях стой! Аделя — з имглыком гуляй! (Имглык — это я. Не так давно узнала, что имглык — просто-напросто — Ungluck!). Усё — Аделя! Усё! Шо ви и будете делать, если Аделя вернёца на обувный фабрик? До войны я стояла на «процес», — подразумевавая конвеер, продолжает возмущаться она. — А? Шо и станете делать? Можете не одвечать, я и так знаю: будете сидеть на своей собрании. И зачем ви вышли замужем? Шоб я и так жила, не знаю...

Молча, устав пререкаться, мама заканчивает оде-

ваться и направляется к выходу. Аделя семенит сзади.

– Кода ви придёте? Ночью? И шо сказать Мише? Ладно, ладно. Идите себе вже ради Бога! Шоб ви мене и били здоровье!

Мама целует меня. Уходит.

– Идите, идите, ради Бога, – копируя Аделю, повторяю я.

Вдруг Аделя обрушивается на меня:

– Имглык! Шо ти тут стоишь? Од я тибе а щас и дам пара печ!<sup>1</sup> Зайди в комнат! Усё горло в тебе расхристане<sup>2</sup> – т-та-кую моду напридумала... И закрой балькон, а то галабцы набегут, – имея в виду голубей, поселившихся у нас на балконе.

Тут, что-то вспомнив, с криком она бросается на кухню и я слышу её «ой, вэй змир»<sup>3</sup> в конце нашего длинного коридора, вдоль которого по одной стороне сплошные двери от комнат наших многочисленных соседей, а по другой – вся стена увешана гирляндами проводов, корытами, вёдрами и прочими предметами домашнего обихода.

– Забила мене усе памороки. Чрез неё чуть котлеты не згарэли. Вот – причепа, так – причепа, – слышу я, появляясь на пороге кухни.

– Хочу котлету. Хочу котлету, – хнычу я, дёргая Аделю за фартук.

– Шо тибе и вдруг приспичило? – удивляется она, зная мою способность продержат котлету за щекой полдня и даже проспять с ней всю ночь. – Ти зъела балён? Нет? Балён – а мехаэ<sup>4</sup>! Значала зъеш балён – выталкивает она меня из кухни, шлёпая по мягкому месту. – А-а! – Приговаривает она с придыханием. – Хайсл<sup>5</sup>! А шейне мейделе<sup>6</sup>!

Вернувшись в комнату, я выливаю остывший бульон в фикус и мысленно обдумываю Аделины метаморфозы: то – «имглык», то – «шейне мейделе». Не понимая значения этих слов, я всё же интуитивно знала их смысл, основываясь на интонации, с которой они произносились. Впрочем, когда звучало первое, я чувство-

<sup>1</sup>Печ – шлепок; <sup>2</sup>Расхристане – раскрыто; <sup>3</sup>Вэй змир (es weh mir...) – мне плохо; <sup>4</sup>Мехаэ – чудный; <sup>5</sup>Хайсл – милая; <sup>6</sup>Шейне мейделе – красивая девочка.

вала, что Аделя всё равно меня любит. Даже когда она что-то выговаривала маме, я знала, что и её она любит, т.к. не раз слышала, как Аделя, «выступая» на кухне перед соседями, нахваливала свою «дохторшу»: «Ви знаете какая она дохтур? Ви не знаете... У ней золотые руки. А шоб они у ней никогда не болели!»

Аделя – моя няня. Не просто няня. Можно сказать – моя вторая мама. Пройдёт много лет. Я вырасту. И Аделя будет помогать мне растить моих детей. Но это будет нескоро и, будучи ребёнком, я, конечно, этого знать не могла. Появилась она у нас, когда мне было три месяца. Кто-то привёл. После тяжёлого послеродового сепсиса мама целый год болела. Предполагалось, что Аделя пробудет у нас, пока мама не поправится. Жизнь распорядилась иначе – Аделя прожила у нас долгие годы, став членом семьи, родным и близким человеком.

Когда мне было одиннадцать, её познакомили со столяром-краснодеревщиком, вдовцом, проживавшем на нашей улице. Мои родители «сыграли» им свадьбу, и Аделя ушла от нас к столяру. Было ей тогда пятьдесят три. Она вернулась на обувную фабрику, на «процес», как она говорила. Но до конца её дней не порывалась нить, связывавшая нас. Но это тоже будет ещё не скоро.

А пока она воспитывала меня, была хранительницей нашего домашнего очага, в полном смысле этого слова. Вообще, соседи считали её главой нашей семьи. Это было недалеко от истины – она имела огромное влияние на родителей и пользовалась их неограниченным доверием. Несмотря на то, что она жила в Киеве с пятнадцатилетнего возраста, Аделя так и не научилась грамотно говорить по-русски. Её язык представлял смесь идиш, украинского, русского и ещё Бог весть чего. Мои родители всерьёз опасались, что я буду говорить, как Аделя. Происходя из маленького местечка, она тем не менее не верила ни в какого Бога, но в Судный день постилась, а на Пасху устраивала подобие «Седера», чему противилась мама. Была она малограмотной, едва читала по слогам, и знания её представляли собой обрывки народной мудрости, соединённые с различными

ми суевериями, кухонными пересудами и магазинными новостями. Очень некрасивая, что я стала понимать, став взрослой, с длинным, вытянутым подобно лошадиному лицу, маленького роста, сухопарая, быстрая, она успевала всё. Дом наш был тёплым и уютным благодаря ей. Родители с утра до вечера работали, сестра – старшеклассница, я – ребёнок. Так что дом наш был целиком на ней. Я любила её. Забегая в будущее, скажу, что эта любовь передалась и моим детям. Мне она казалась красавицей. Часто я усаживала её на диван и начинала расчёсывать её жидкие волосы, приговаривая: «Ты – моя красавица, моя – царевна». «Правда, Аделичка – красивая?», – спрашивала я у взрослых. Мой взгляд падал на её руки, натруженные и морщинистые. Я пугалась, понимая, что она уже старенькая и не понимала, как моя Аделичка в эвакуации, о которой она часто вспоминала, с ружьём в этих самых руках по ночам охраняла элеватор. Впрочем, что такое «элеватор» и «эвакуация» я тоже не понимала.

Прошли годы. И уже совсем состарившись, она подолгу жила у нас, намного пережив своего столера. От былой подвижности ничего не осталось. Да и память её была пошатнувшейся. Бывало, сидя на кухне, прихлёбывая чай, который она наливала в «блюдко»<sup>1</sup>, она рассказывала маме, тоже намного пережившей моего отца, старые истории, которые я помнила с детства. Истории были одни и те же. Она повторяла их множество раз, с разными вариациями. Но однажды я услышала:

– Вы знаете? Кода я приехала с эвакуации, я служила у одной докторши. Так она таки да била балебатише<sup>2</sup>. Шоб я и так жила...

– Аделя! Очнись! – закричала я, вбежав на кухню. – У какой докторши? Это же мама! Это же я!

Да? – по-детски удивилась она. Ты думаешь, я мишигине<sup>3</sup>, цудрейте<sup>4</sup>? Я просто немножечко забила. Шейне пуным<sup>5</sup>, ти нивроку виросла. Любо-дорого смотреть. А ви помните наша соседка Сима? Она жила

---

<sup>1</sup>Блюдко – блюдо; <sup>2</sup>Балебатише – хозяйственная; <sup>3</sup>Мишигине – сумасшедшая; <sup>4</sup>Цудрейте – чекнутая; <sup>5</sup>Пуным – лицо

сразу как войдѣшь. Флейш мит эйгл<sup>1</sup>. Она была шикса<sup>2</sup>, но лучше, чем еврей. А ти дружила из мальчиком, гоем<sup>3</sup>. Как его звали? Мальчи! Я щас и вспомню... Ой! Готеню, Готеню<sup>4</sup>! – вздыхает она.

Так и не вспомнив, она начинает усypать. Я отвожу её в комнату. Укладываю на диван и укрываю пледом. Я целую её морщинистое лицо, слезящиеся глаза. И она засыпает тревожным сном. Прикладывая палец к губам, я призываю домашних к тишине – Аделя спит. Пусть отдохнёт. Она заслужила это...

## ДОРОГА

Едешь, едешь дорогой и, вдруг, почти в конце пути замечаешь, что не в ту сторону, не к той цели и вообще не той дорогой. Как такое могло случиться? Когда, на каком перекрестке ты нанутил, пересев не в те сани, не в тот поезд... Выбрал не тех попутчиков, готовых в любой момент разочаровать тебя или, того хуже, предать?

Ты начинаешь рыться в архивах памяти, в книге времени, которая пухнет, пухнет от извергаемой лжи, глупости, ошибок и уже не вмещается в твоей голове. Чаще всего *тебя бросает в это*, когда распадается очередная календарь, когда заканчивается старый, пожелтевший романс года.

Из бессвязной мозаики ты инстинктивно выхватываешь пласт времени, в котором, как тебе кажется теперь, ты был относительно спокоен и ничто не мучило тебя. Ты воображаешь это неожиданным возвращением к себе. Усиленно, с какой-то маниакальной настойчивостью, пытаешься отыскать момент, когда ты переступил нечто в самом себе, когда оказался не на той дороге, потеряв неповторимый аромат и смысл той, единственно верной... «Зачем? Зачем Господь создал меня таким? – думаешь ты. – Отчего мне неийметя и так больно?»

Флюгер твоего настроения меняется ежесекундно.

---

<sup>1</sup>Флейш мит эйгл – мясо с глазами; <sup>2</sup>Шикса – еврейка;  
<sup>3</sup>Гой – русский; <sup>4</sup>Готеню – Боже мой

Ты носишься в этом виртуальном мире, отыскивая вновь и вновь очередной пласт. Хитрец! Тот, нужный тебе, ты откладываешь на потом. На когда? Чем ты рискуешь, зная всё наперёд? Ответь же себе, наконец, что всё дело в самом тебе, тебе одном... Но слаб человек... Ты не в состоянии признаться себе в этом... Ты не проклинаешь время, судьбу, пытаешься к ним приспособиться и, что, увы..., тебе плохо удастся. Изменить же, исправить что-либо не в твоей власти. Жизнь, любовь, утраты, и не только физические, но и моральные, насытили и опустошили тебя одновременно. Вот тут-то тобой овладевают отвращение и неодолимая тоска. И в своём одиночестве, которое ты зовёшь одиночеством, кто-то твёрдой рукой изнутри стучит в твоё сердце, и ты слышишь: «Не разрывай связь, не запирай сердце от места, протягивающего к тебе невидимую нить от источника и начала всего...»

В этот момент, если тебе повезёт, пред тобой появляется некая колеблющаяся субстанция, порог, отделяющий мир реальный от мира сновидений. «Возвратись, душа, туда, где я был счастлив...» – просишь ты, засыпая и уносясь в мир тайны. ...Если тебе не повезёт, кто знает, куда приведут тебя твои мысли.

• • •

Мне ни выплакать, ни выстонать  
всю скопившуюся боль.

Я хотела только б выстоять,  
до конца сыгравши роль.

Что? Хочу я невозможного?  
Разве многого прошу?  
Разве все пути исхожены,  
что пройти ещё спешу?

Ведь пока не уничтожена –  
боль, которую ношу.  
Да и строки все не сложены,  
что, быть может, напишу.

\* \* \*

Кто-то выдумал, что радость  
в нас самих заключена.  
Где найти мне эту малость?  
Ту, что свыше мне дана?

Ту, что вдруг единым светом  
озаряет всё внутри?  
По каким таким приметам  
зажигают фонари?

Безотчётно, беззаветно  
всё окрасив в белый цвет,  
оставляет без ответа  
кем-то созданный сюжет.

## ЛЮБОВЬ-НАВАЖДЕНИЕ

Была ты выдумкою музыки.  
Тебе – нет имени.  
Зачем ты нас связала узами,  
нерасторжимыми?

Зачем мелодию наваяла  
неуловимую?  
Ведь я тогда в неё поверила,  
Мечтой томимая.

Была ты для меня алхимией  
в обнимку с Временем.  
Пред ним остались все нагими мы  
и жалким бременем.

\* \* \*

Не навейвай печаль.  
И дай ещё минуту – себя преодолеть.  
И хоть порою жаль,  
инерции души мне не сломать и впредь.

Мой здравый смысл молчит.  
Утешь меня... Как в этой жизни неуютно.  
Ненужный алфавит  
использовать должна я вновь ежеминутно.

\* \* \*

Снег опять метёт –  
застилает веки.  
Что-то в сердце бьёт –  
жизненные веки?

Среди лета снег  
тополиный стелет.  
Ненасытный век  
душу мне измелет.

Коротки слова:  
«кровушка-водица».  
Выпью всё до дна –  
всё, что ни случится.

\* \* \*

Сегодня ветер болен  
и дождь совсем ослеп.  
И вечер обездолен,  
абсурден и нелеп.

И так он безучастен  
к моим немым словам.  
Он к жизни непричастен.  
И сердце – пополам.

\* \* \*

Догораю, как свеча –  
тлею, тлею.  
Не могу рубить с плеча –  
не умею.

Нету мужества во мне –  
нет ни капли.  
Мысли где-то в глубине –  
вдруг иссякли.

И не ведает тоска –  
где ей думать?  
Мне бы только два шага –  
цель придумать.

\* \* \*

Я живу как-нибудь – между строк, между пауз.  
Я живу и дышу вперемешку с дождём.  
Я дышу, но дыханьем, похожим на спазмы,  
не дающим дышать мне ни ночью, ни днём.

Я хотела бы в мыслях акценты расставить, –  
в этом хаосе чувств, многоточий и слов.  
Я хотела бы в строчку здесь «главное» вставить –  
я пытаюсь найти это «главное» вновь.

Я нищу и тасую события снова.  
Я тасую колоду по имени «жизнь».  
Распадаются карты. Разве это не повод –  
всё оставить как есть и принять фатализм?

\* \* \*

«Все суета»  
Книга Екклесиаста Проповедника

Нет радости под этим небом –  
«всё суета сует».  
Зачем грустить, что кем-то не был? –  
Всему: один ответ.

Зачем искать, когда теряем? –  
Не нужно сберегать.  
Зачем томиться, что не знаем,  
кем станем впредь опять?

Куда? Куда же всё девалось? –  
Не устаём твердить.  
Живи! Покуда не порвалась  
серебряная нить.

# МИНА ПОЛЯНСКАЯ

## ПЕНТЕСИЛЕЯ И ЕЕ СЫН (ЭЛЕГИЯ)

*Я забыла ваши уроки,  
Краснобай и лжепророки' -  
Но меня не забыли вы*  
Ахматова А. Поэма без героя

Эту историю мне рассказала женщина, с которой я познакомилась на водах. Я не записала ее по горячим следам, но постараюсь придерживаться реальности, хотя, как известно, в литературном обиходе принято смещать и заострять акценты.

Начну с конца и расскажу о видении этой женщины после всего, что с ней случилось. Женщине привиделся мальчик в синей матроске, он тесно прижался к маме, зарывшись в *ней* от ветра с мамой он в безопасности. Мама такая теплая, мама такая уютная. Мама очень красивая и глаза у нее как черные звезды, если такие бывают, и пахнет она молоком и детством. Так и останется в щемящей его памяти образ неповторимый – пахнувшая детством мама с глазами, как черные звезды. Черные звезды – образ, придуманный мной, записывающей этот рассказ. Можно прибегнуть к помощи поэта, сравнившего взор поющих глаз женщины с сияющим алмазом, забытом на черном бархате. Это, по моему, хорошо.

Прошли годы – у поседевшего мальчика давно уже нет мамы, хотя на мальчика он по-прежнему похож. Он давно сирота. Как верно отметил один гениальный писатель, работавший дворником, взрослые отличаются от детей тем, что они всегда сироты.

Конечно, можно придумать, что поседевший мальчик увидел однажды эту женщину, которая мне рассказала историю своей любви, в парке или же в каком-нибудь кафе, или, что еще лучше, в старинной логичес-

кой церкви на фоне цветных витражей. Однако они познакомились на литературном вечере где-то на даче, недалеко от леса. Она была подвижная, с довольно красивым решительным лицом и маленькими руками, как у Пентесилей.

Он угадал в ней слабость и нечто девичье, полудетское. Глаза у нее были знакомые – похожи на черные звезды или же те самые – давно забытые алмазы. На ней было что-то темное. Он не наблюдал за нею, но все это вспомнилось позже. О чем говорили вечером – никто не помнит. Все получилось, как должно. Он встретил ее на следующее утро, и они отправились гулять в лес. Он уже знал, что любит ее. Они спустились к реке, и он, отвернувшись от нее, как будто в смущении, сказал, стараясь смягчить высокопарность: «Ты похожа на мою маму и пахнешь моей мамой». Женщина сказала: «Такого не бывает. Запах неповторим, как неповторимы отпечатки пальцев. Наверное, ты шутил.» Но он, стараясь по-прежнему быть невысокопарным, сказал: «Ты не можешь не верить мне, потому что я говорю о маме, и с этим шутить невозможно, поскольку ведь это кощунство, – и он добавил таинственно: этот материнский запах детства – неуловим, его чувствую только я». Женщина страстно влюбилась здесь же у реки в поседевшего мальчика-сироту с большими круглыми глазами и особенно в его слова о матери.

Он понял, что сейчас может сбыться невероятное и стал целовать ее глаза. Она отстранилась мягко и сказала: «Потом». И они пошли через лес, держась за руки. Любовь получилась «удвоенной» – он влюбился в женщину и как будто бы в свою мать. Стало быть, любовь была запретной, кровосмесительной. Любовь была и трагедией ошибок, и «драмой судьбы». Пожалуй, в эпилоге трагедии они должны были погибнуть, поскольку в «драме судьбы» все плывет в туманах вековой предопределенности. «Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит – Судьба.»

Итак, они шли по лесу, держась за руки. И еще не поздно было остановиться. Или же можно было на будущее их ложе положить меч Брюнхильды..

Но они уже стояли перед гостиницей и затем быстро поднялись по лестнице. Она вошла первая в небольшую светлую комнату и первая стала раздеваться. Сознание, что она единственная, поскольку похожа на мать, усиливало ее страсть. Казалось, весь мир пронизан страстью и трепетом ее неповторимости. Она была озабочена правами собственной личности. Как Пентесилея, царица Амазонок.

И меч они благоразумно убрали подальше, под большое овальное зеркало. Сказывают ходят упорные слухи - будто Тристан и Изольда, усypив бдительность *одного из своих многочисленных* авторов, вероятно, эльзасца Готфрида Страсбургского, любившего дремать над рукописью, сделали то же самое - спрятали меч за зеркалом.

Расплата пришла потом, ибо ищестная любовь поклоняется злой силе.

Спустя некоторое время речь их стала прерывистой, в ней появилась трещина. Каждый из них погрузился в свой несветлый мир и, разговаривая, они перестали слышать друг друга. Они продолжали любить друг друга, но вдруг она заметила, что мальчик в общении грубоват, как тот самый клейстовский Ахилл с его мужланством и солдатчиной, сквозь речи его и поступки проглядывает некая «схема мужщины», каких она встречала много. Она начинала бояться своей любви к нему, потому что *угадала* его. Он проговаривался, говоря о ней лихо, как о женщинах вообще, забыв, что она мать. А она была озабочена правами собственной личности. И вдруг случилось ужасное - ей помогли зеркала - в них она увидела, что он - не сын.

«И во всех зеркалах отразился человек, что не появился.»

Впрочем, вовсе это и не так ужасно - все решилось само собой. Она подумала: «Он обманул меня, но зато теперь я не буду ему запретней всех семи смертельных грехов».

И кроме того, у Пентесилей ведь и не могло быть сына, сыновей у амазонок убивают.

История, рассказанная как будто бы на водах, окончена. Не будет эпилога трагедии в «драме судьбы», где

все плывет в туманах вековой предопределенности. И лира Софокла здесь не понадобится. И не споет он нам песни ни о царе Эдипе, ни об Электре.

Не было истории запретной любви мальчика с большими круглыми глазами к матери - женщине. А вот что было. Некто, похожий на мальчика, обладающий особым природным чутьем, «инстинктом зверя», увидел ее, и в азарте доброй охоты ринулся вслед и догнал ее в лесу у самой реки. Неким инстинктом, «кончиком морды» он учуял, как взять ее и что ей *нужно* сказать. Он, как всегда, безошибочно «взял след». Ну что тут скажешь? Кто не грешен? Вот именно!

Поседевшие мальчишки, блудные сыновья, будем же высокопарны: в своих неодолимых страстях не прибегайте к помощи матерей в речах своих сладостных; держайте как-то иначе, ибо вы рискуете душой, поскольку не верите в самую проблему трагедии.

Прощай моя элегия! Как трудно из нее уйти! Ее грустный ритм звучит еще в ушах... «Продленный призрак бытия синее за чертой страницы, как завтрашние облака, - и не кончается строка.»

## ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ

### I

Когда по замыслу автора литературный герой *должен уйти из жизни*, а, стало быть, и со страниц произведения, то зачастую этому способствует *обыкновенный случай*. Обыкновенный случай - приготовительная ступень к смерти героя, для которой, согласно выражению нашего профессора<sup>1</sup>, он "созрел". Сидя на стуле<sup>2</sup> и опершись на трость, профессор моделировал подобную ситуацию. "Почему умирает герой?," - спрашивал он сурово, облокачивая всю аудиторию разом невидящим взглядом, и отвечал: "Потому что он созрел для смерти!". Метафизические, и даже потусторонние для девятнадцатилетних студентов<sup>3</sup> речевые обороты гулко разносились в притихшем зале, становилось страшно. А во мне бушевал литературный протест, оттого, что Андрея Болконского и Пестю Ростова невозможно вер-

нуть в произведение, как невозможно оживить ушедшего в могилу. Были ведь прецеденты, когда неперспективного нежильца-героя автор “оставлял жить”! Возьмем хотя бы Итена Хоули, духовного этого гурмана, питомца Гарварда, знающего всю Библию наизусть и напроочь истребив уго душу<sup>4</sup> к концу романа. Автор буквально выволок героя из океана, куда он ушел с тем, чтобы утопиться, поскольку его “огонь погас” и, стало быть, надо “достойным образом уйти, без драм, никого не наказуя – ни себя, ни своих близких”. Однако я *чувствовала*, что профессор в беспощадности своей к герою прав по каким-то неведомым еще мне невероятно высоким счетам в искусстве.

“Первая литературная встреча непоправима”<sup>5</sup>, – писал Мандельштам о своем преподавателе Владимире Васильевиче Гиппиусе, влюбленный в его “литературную злость”.

Я теперь читаю только книги моего учителя-маэстро, поскольку лекции давно утрачены, между тем как употребляемые им отличавшиеся *всегда* особой новизной фразы, меткие слова, “формулировки” для решения сугубо литературных задач, ставшие некоей легендой в среде петербургских литераторов, впечатались в мою память – теперь уже думаю навсегда. Так что, размышляя над очередным “памятником”,<sup>6</sup> я по-прежнему пользуюсь парадоксами профессора.

## II

Для писателя ситуация “убиения” необычайно драматична, поскольку, убивая героя, он как будто хоронит себя, а может быть, собственного ребенка. Тогда в душе и в сознании его развивается им самим не всегда осознанный конфликт, который в процессе создания текста порождает эмоциональное воздействие огромной силы. Мне довелось быть свидетелем того, как писатель оплакивал – по лицу его текли слезы – смерть одного из героев только что написанной им пьесы: это были слезы Фридриха Горенштейна по Василию Блаженному. Я заметила слезы и по умершему Ивану Грозному, но писатель заверил меня, что эти слезы мне привиделись. Он мне так и сказал: “Я оплакивал только

Василия Блаженного, а Ивана Грозного – нет. Вам показалось!”<sup>7</sup>. Вероятно, автор не смог признаться и самому себе, что проливал слезы над своим детищем – монстром.

Профессор тогда говорил нам: “В силу необходимости писатель идет на любые уловки и ухищрения или же, наоборот, находит простые и незатейливые случаи, которые *должны* спровоцировать смерть”. По разным причинам вынуждены литературные герои покинуть сцену. Одни из них опустошили, истребили душу в жестокой борьбе за место в обществе, другие настолько обессилели в борьбе с убожеством своего “среднестатистического” существования, что готовы “вкусить уничтоженья”, иные же, подобно античным героям, и вовсе – жертвы неумолимой судьбы. Что же касается Случая, провоцирующего смерть, то, как уже говорилось, им может быть нелепость или курьез – швейная игла или заржавевший гвоздь, которым герой укололся и получил заражение крови, это может быть прогнившая деревянная ступень или подвернувшийся вдруг камень, о который герой споткнулся, упал, разбил себе голову и так далее.

### III

Лев Николаевич Толстой написал рассказ “Смерть Ивана Ильича” в тот период жизни, когда давно уже отказался от творчества. Надо сказать, что еще в молодые годы писателя посещали сомнения по поводу *личного* его права творить, а также мысли о том, что литературное творчество – несерьезное времяпровождение. Тридцатилетний Толстой писал Дружинину: “Я... кажется, не буду писать...жизнь коротка, и тратить ее в взрослых годах на писанье таких повестей, какие я писал, совестно. Можно и должно и хочется заниматься делом”. Спустя 30 лет он и в самом деле уже многие годы ничего не писал, так как верил теперь в то, что творчество безбожно, поскольку основано на обмане, и, стало быть, художественный вымысел греховен. Тем не менее, именно в этот период “обета молчания” он написал рассказ “Смерть Ивана Ильича”, ставший одной из вершин его творчества<sup>8</sup> в не мень-

шей степени, чем его великие романы и повести, о которых он когда-то покаянно писал Дружинину. Две темы по-прежнему занимали его так же, как и раньше - тайна жизни и тайна смерти.

Герой Толстого Иван Ильич, юрист по профессии, жил, как ему казалось, благопристойной обыкновенной жизнью, той самой, которой жили окружающие его коллеги. Обыкновенный случай все изменил... Обыкновенный случай Ивана Ильича, который *по воле* Толстого “созрел для смерти”, состоял в том, что он вешал гардину, упал с лестницы, ударился, в результате чего тяжело заболел. Позволю себе воспользоваться медицинским диагнозом, который поставил Ивану Ильичу Владимир Набоков и убедительно его обосновал: “... он смертельно повредил левую почку (это мой диагноз, в результате у него, вероятно, начался рак почки), но Толстой, не жаловавший врачей и вообще медицину, намеренно темнит, выдвигая другие предположения: блуждающая почка, желудочная болезнь, даже слепая кишка, которая уж никак не может быть слева, хотя она упоминается несколько раз. Позже Иван Ильич мрачно шутит, что на этой гардине, он, как на штурме, потерял жизнь”.

Иван Ильич должен уйти из жизни в возрасте сорока пяти лет, а ситуация наступающей смерти открывает ему страшную истину: он прожил свою жизнь неправильно: вся его прежняя жизнь была фальшивой и лживой. Он, оказывается, умер давно, но только перед лицом наступающей физической смерти сознает это. “Что если вся жизнь была неправильна?” – спрашивает себя Иван Ильич”. Он размышляет о нищете человеческого существования вообще и о своей собственной убогости, и обнаруживает вдруг, что высшим взлетом его жизни было назначение на высокую должность. Вторая глава рассказа начинается так: “Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная. Иван Ильич умер сорока пяти лет членом судебной палаты”. Кроме того, он открывает для себя, что будучи внешне элегантным и приятным человеком, жил нечеловеческой жизнью, одним словом, вел *животное* существование.

В новелле "Превращение" Франца Кафки мотив животного существования приобретает неожиданный оборот. Герой повести Грегор Замза жил нечеловеческой жизнью. Он, будучи коммивояжером, вставал очень рано (поезд уходил в пять часов утра), ездил на службу - и это было все, что составляло существо его жизни. Он вел жизнь животного, а еще точнее - насекомого, инсекта. Кафка доводит "животную" тему до логического конца. Однажды ненастным утром герой проснулся и обнаружил себя в образе страшного насекомого - "ungeheuren Ungeziefer". Какое это было насекомое неизвестно, однако оно было преогромное, поскольку не могло пролезть в дверь: "Но когда он наконец благополучно направил голову в раскрытую дверь, оказалось, что туловище его слишком широко, чтобы свободно в него пролезть". Георг Замза превратился в насекомое фактически - Кафка "выдвинул" замысел. Этот экспрессионистский прием<sup>9</sup> производит ошеломляющее действие, тем более, что по мере прочтения новеллы выясняется, что у героя осталась лирическая, нежная, любящая душа. Однако же с неким изъясном: она была *рабски* подчинена семье - матери, отцу и сестре, находившимся до *превращения* на содержании у сына. Сын не только содержал родителей, ставших пять лет назад банкротами, но выплачивал их долги; выяснилось, правда, из услышанных им *в теперешнем состоянии* за дверью разговоров, что банкротами они не стали, а даже, наоборот, "от старых времен сохранилось еще маленькое состояние и что оно, так как процентов не трогали, за эти годы немного выросло"<sup>10</sup>.

Эта ущербность оказалась катастрофой для героя, поскольку от роковой зависимости он так и не смог освободиться. Процесс развития страдающей души героя в оболочке *некоего животного*, разрывающейся между парализующей душу любовью к родителям, жестоко эксплуатирующим и даже, как выяснилось, обворовывающим его, и его желанием освободиться, стать суверенной личностью, вылеплен Кафкой на уровне величайших образцов мировой литературы - высокои трагедии, достойной моцартовского "Рекви-

ема". *Превратившись*, герой постепенно начинает забывать свое человеческое прошлое. Тем не менее, однажды он сумел подняться до пронзительных высот духа и заявить протест домашней диктатуре, лишившей его "неприкосновенного запаса" ИЗ<sup>11</sup> личных, любимых с детства вещей (они единственные связывали его с жизнью и были его духовностью) и превратившей его комнату в пещеру (диктатура выживала его). Когда же посягнули на висевший над столом портрет с дамой в меховой шубке и боа, который он когда-то вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую позолоченную раму, он решился защитить его. С большим трудом забрался он на портрет и прижался своим неуклюжим, исхудавшим, израненным телом к его холодному стеклу. "По крайней мере этого портрета, целиком закрытого Грегором, у него наверняка не заберет никто... Он сидит на портрете и не отдаст его. Скорее у ж вцепится Грете в лицо". Это был единственный решительный протест в защиту жизни и свободы.

## V

В рассказе Толстого в душе главного героя также зреет протест животному бытию, закончившийся, хоть и смертью, но однако же полным освобождением. Известно, что Лев Толстой боялся смерти и страшился о ней писать. Он справедливо считал, что немногие авторы умеют писать о ней. Толстому *то было дано*, и в рассказе "Смерть Ивана Ильича" мастерство его достигло вершины.

Писатель показывает мучительный процесс ухода человека со сцены жизни через постепенное сужение круга его общения. Он приговорен и, стало быть, для многих уже бесполезен, не нужен. Разве что, его исчезновение интересно для тех его коллег, которые в результате этого могут получить повышение по службе.

"Теперь, наверное, получу место Штабеля или Винникова, — подумал Федор Васильевич. — Мне это и давно обещано, а это повышение составляет для меня во семьсот рублей прибавки, кроме канцелярии".

"Надо будет попросить теперь о переводе шуррина

из Калуги, – подумал Петр Иванович. – Жена будет очень рада. Теперь уж нельзя будет говорить, что я ничего не сделал для ее родных”.

Круг общения Ивана Ильича сужается по следующей схеме: 1) служба и коллеги, 2) семья, 3) младший сын и слуга.

Несмотря на отчуждение окружающих и семьи, которым он стал в тягость, он, тем не менее, впервые в жизни испытывает жалость с полной самоотдачей по отношению к ним.

## VI

В “Превращении” тема любви и жалости к близким пронизывает всю ткань произведения. Герой испытывал эти чувства и раньше, они у него возникли не сейчас, не впервые. И вот – отец, мать и сестра пожелали смерти сыну и брату, ставшему обузой. Он тотчас же подчинился их желанию *без всяких сомнений и раздумий*. “Сестра сказала: “Будь это Грегор, он давно бы понял, что люди не могут жить вместе с таким животным, и сам ушел бы”. Сестра проговорила это достаточно громко в расчете на то, что Грегор услышит ее и освободит семью от себя. Он и в самом деле услышал ее пожелание и решил, не откладывая, умереть этой же ночью. Кафка замечает, что о своей семье он продолжал думать с “нежностью и любовью”. “В этом состоянии чистого и мирного раздумья, – пишет Кафка, он пребывал до тех пор, пока башенные часы не пробили три часа ночи. Когда за окном все посветлело, он еще жил. Потом голова его помимо его воли совсем опустилась, и он слабо вздохнул в последний раз”. Освободилась ли душа Грегора Замзы, со всей его бесконечной добротой, а также чистым и мирным раздумьем? Кафка не дает ответа. Какой бы то ни было ответ был бы не ограничен для этого писателя – именно таким образом бытие преломилось в его сознании.

Тогда как Толстой дал читателю совершенно определенный ответ – его герой спасется. Иван Ильич принял точно такое же решение – как можно скорее умереть.

“Да, я мучаю их, – подумал он. Им жалко, но им

лучше будет, когда я умру". Он хотел сказать это, но не в силах был это выговорить". "Впрочем, зачем же говорить, надо сделать", – подумал он"

И тогда он оказывается у последней черты наедине с наступающей смертью. Иван Ильич увидел свет "Вместо смерти был свет. "Так вот оно что! – вдруг вслух проговорил он. – Какая радость!"

"Кончена смерть. – сказал он себе. – Ее нет больше".

Он втянул в себя воздух, остановился на половине вдоха и умер".

---

<sup>1</sup> Имеется в виду историк и теоретик литературы Наум Яковлевич Берковский.

<sup>2</sup> Берковский был болен и мог читать лекции только сидя.

<sup>3</sup> Профессор часто "пугал" нас. Его рассказ о "Нишенке из Локкарно" Клефета испугал меня больше чем оригинал любимого мною автора

<sup>4</sup> Имеется в виду роман Джона Стейнбека "Зима тревоги нашей"

<sup>5</sup> И Мандельштам, "В не по чину барственной шубе".

<sup>6</sup> Берковский называл литературные произведения "памятниками".

<sup>7</sup> Речь идет здесь о "Хрониках времен Ивана Грозного", изданных посмертно в Нью-Йорке в 2002 году

Горенштейн читал в моем присутствии сцены из книги (мы их записывали на магнитофонную ленту в течение целого года по воскресеньям – у писателя был нечитаемый почерк – для издателя "Слова" в Нью-Йорке Ларисы Шенкер, которая, собственно говоря, единственная, в 90-х годах издавала произведения Горенштейна на русском языке) и по мере ухода *навсегда* некоторых героев со сцены оплакивал их и при этом оправдывался: "Когда я создаю эти образы я чувствую себя выше их - я их создатель - и не плачу. Я плачу только после написания романа, когда уже над ними не возвышаюсь."

<sup>8</sup> Великий Фредерико Феллини определил этот рассказ как лучшую повесть мировой литературы

<sup>9</sup> Берковский называл Кафку тихим экспрессионистом

<sup>10</sup> Он же называл семью Грегора Замзы "кровососным семейством".

<sup>11</sup> "Технический" термин Берковского, употребленный, правда, по другому случаю – по отношению к душе Жюльена Сореля, потребленной им самим ПЗ, использованный героем для карьеристских целей, – не что иное, как его подлинная и единственная любовь, к госпоже де Реналь.

# ВИКТОРИЯ ПУГАЧЕВСКАЯ

## ЛЕС

Лес был наполнен птичьим пением, запахом хвои.  
Лес понимал, что деревья дышат, тая тёплые  
райские души в тяжёлых ветвях...  
Лес любил своих обитателей.  
Лес страдал от любви.  
Деревья, цветы, птицы несли в себе горечь  
преходящего, страх смерти.  
Лес обновлялся каждую весну.  
Лес смотрел глубоко, таинственно, отрешённо.

## ЛАНДЫШ

Ландыш цвёл на поляне, светился ровным, былым,  
тайным.  
Ландыш любил птиц и сосны. Он знал всё о лесе.  
Ландыш привёл меня к Вере.  
Когда я смотрю на него, замирает сердце, поёт душа.  
Ландыш – лесной ангел, дух добра и юной красоты...  
Ландыш стоит у моей кровати в голубой вазе.  
Я пью его аромат.  
Аромат Неба.

## ОЗЕРО

Озеро молчало.  
Над ним склонилась девушка.  
Она плела венок из озёрных лилий.  
Девушка была красива, печальна, нежна.  
Она сплела венок и оставила его на берегу.  
Озеро смотрело на берег с тоской об уходящем...  
Венок, сплетённый из молитв, из песен, из судеб.

Венок Жизни.

## ВЕНОК

Я люблю венки из полевых цветов.  
Я знаю, что цветы, даря аромат,  
рассказывают о своей судьбе...

Венок хорошо держать в руках во время молитвы.  
Венок –  
дитя природы и человека,  
их общая песня.

### ГРУСТЬ

Грусть посетила её.  
Она была грустна, нимфа садов.  
Осень – желтокрылая бабочка,  
пролетела над садами –  
жёлтый ветер срывал бутоны цветов.  
Жёлтый дождь окроплял землю.  
Жёлтая листва оплакивала лето  
Грусть.  
Я вижу, что ты печальна.  
Я вижу...  
Грусть овладевает нами как вдохновение...  
Вдохновение – грусть?  
Нет, оно ей сродни.

### СВЕТ

Загадочный свет владел Рембрантом.  
Свет золотистый. Свет жемчужный...  
Свет посещал его, слепил, уводил с собой.  
Рембрант полюбил девушку, женился на ней.  
Свет играл в её волосах, золотых, золотых...  
Она рано покинула его...  
Спустя годы художник снова повстречал любовь.  
У неё тёмные волосы, излучающие мягкий свет  
глаза...  
Когда к нему пришёл Ангел Смерти,  
Рембрант сказал ему: «Свет».  
Ангел улыбнулся и повёл за собой.  
У Ангела были золотые волосы и тёмные мерцающие  
глаза.  
Небо встретило Мастера радостно –  
дети плели венки, девушки смеялись.  
С кем он будет теперь?  
С той, золотистой или с тёмноволосой?  
Он остался один. Один. Один.  
С ним был свет.

## Из цикла «В гетто»

### ГЕТТО

Гетто.

Серые дома. Узкие улицы. Запах старых вещей.

Еврей – пленники гетто. Его рабы...

Раввина спасала Тора.

Тора давала ему силы, одухотворяла жизнь, вела за собой.

Раввин знал, что его соплеменники страдают сильнее его,

не понимая сути слов, заключённых в Талмуде.

Он стал Учителем.

Еврей молились, пели, собираясь группами, оплакивали ушедших...

Раввин умер в Гетто.

Тора спасла его детей.

### СВЕЧА

Свеча озаряла его лицо.

Раввин у окна молился.

Его дети ушли на войну, он молился за них.

Раввин был стар...

Когда погасла свеча, он отошёл от окна.

Дети вернуться.

Дети были его надеждой, они любили молитву, чтили Тору.

Раввин забыл о свече.

Она стояла на подоконнике одиноко.

Она знала душу раввина...

Дети вернуться.

### ТОРА

Тора лежала на его коленях.

Раввин вчитывался в каждое слово.

Тора...

Она рассказывала раввину о Пути Еврейства.

О Его Трагедии...

Тора лежала на его коленях.

## ПЛАЧ

Плач раздавался у синагоги.

Умер раввин.

Он прожил светлую, наполненную верой жизнь.

Он покинул Землю в субботу.

Именно, в субботу..

Плач раздавался у синагоги.

Евреи плакали.

# ЛЮБОВЬ РЕЙНГАЧ

\* \* \*

На одном берегу я –  
Глядящая невидяще, на буйство весенней зелени  
не оправленной в раму.

На другом –  
Сидящая в затемнённых очках за чашкой кофе  
одинокая молодая дама.

Между –  
Бегущая тёмная река с ослепляющими  
пузырьками разбитой амальгамы.

Мне непонятно –  
Это осколки моей или её драмы?

\* \* \*

Ну потерпи ещё немножко!  
Во мне такая круговерть,  
Что каждый промах, как подножка.  
А каждая подножка – смерть.  
Ну потерпи ещё немножко!  
Сгорит спираль, остынет медь,  
Как раскалённый воск – из ложки  
На воду вылитый – в стынь, в твердь.

\* \* \*

Когда рвёт воздух горн, зовущий к схватке,  
И руки спешно гянут к головне –  
Ищу причину, мучаюсь в догадках,  
Но быть хочу не – над, не – под, а – вне.

\* \* \*

Если вечная жизнь - впереди,  
Быть должно тогда обоснованье;

Почему при прощаньи в груди  
Сердце вдребезги – об основанье.

\* \* \*

Если жизнь мне дана по закону,  
И никто его не отменял,  
Почему ж даже здесь, за кордоном,  
Я за нею, она - от меня ?

\* \* \*

Тогда – четыре дня нашли  
Мы среди прочих.  
С ума сошли: ласкал кашмир  
Четыре ночи!

... Воспоминания – наш мир.  
Реальный – точит.  
Каких! Четыре дня – ушли  
И ночи!... — прочерк.

\* \* \*

Март. И не остановить  
Солнца. Въедет на повозке.  
Прений нет. Постановить:  
Сжечь тряпьё! Смести обноски!  
Чистоту восстановить,  
Довести её до лоска,  
Небу форму обновить:  
Сине-белые матроски,  
Птицам – срочно гнёзда вить,  
Косы расплести берёзкам.  
...Раскалится солнца нить,  
Вспыхнет золотом полоска –  
Будет свечка слезы лить  
Из расплавленного воска.

\* \* \*

Что мне нужно выбирать?  
Чем должна я дорожить?  
Жить, чтоб мерно умирать?  
Или умирать, чтоб жить?

\* \* \*

Нарушена дневная спячка:  
Пробило каменную твердь.  
И наваждение, и горячка,  
И наслаждение, и смерть.

\* \* \*

Помогите! Нет спасения!  
Половодье? Паводнение?  
Несмолкаемое пенне!  
И без голосоведения!  
Но какое самомнение?  
Дирижёра – в увольнение!  
Круглосуточное бдение! –  
Не приходят свидения!  
Смотрят все в недоумении:  
Видно, выпала из времени.  
Нефокусировка зрения;  
'Это – сессия весенняя!

\* \* \*

Как пресно – всё одно и то же!  
Обеды, ужины, кровать,  
«Следить» за постаревшей кожей,  
Серийно патоку глотать,  
День голодать; «А вдруг поможет?»,  
С соседкой время коротать,  
Брюзжать: «...Когда была моложе...»,  
На выросших детей роптать.  
...Я не хочу свой бег стреножить!  
И старость мне не ублажать!  
Я не хочу – бревном – на ложе!  
И пылкость мне не остужать!  
Я не готова жизнь итожить,  
мне столько нужно испытать!  
Затем я демонов тревожу,  
Чтоб с мукой – вместе – благодать.

*Январь - апрель 2002 г.*

## ЦВЕТЫ

Домашние. Расправлен локон.  
Смиренные. Глядят из окон.  
А смелые, поправ законы,  
Выбрасываются с балконов.

\* \* \*

Шорох вырванной чеки  
Побежали ручейки;  
Мел – чело, запали веки  
Человеки... человеки...

\* \* \*

Как жизнь нас изменила. Боже!  
Кто мог такое ожидать?  
Хотим и ждём с тобой – её же!  
Но, жаль, уже не можем дать.

\* \* \*

Будешь ножом воду пилить?  
Будешь ковшом поле косить?  
Будешь огнём пламя гасить?  
Будешь конём – всё выносить?  
Ссуду прошу только. Буду.

# Анна Сохрина

## О ПОЛЬЗЕ ВКУСНОЙ И ЗДОРОВОЙ ПИЦЦЫ

В Виннице подробно и тщательно ели... О, вы не знаете, как умеют готовить на Украине! Это надо один раз попробовать, чтобы помнить всю жизнь...

Обрывок разговора, услышанного за столом в одной шумной безалаберной эмигрантской компании, зацепил меня своим краешком и потащил за собой сумбурный хоровод ассоциаций, разноцветных картинок моей жизни. В основном, все это комичное и весело-приплясывающее действо крутилось вокруг моей двоюродной сестры Маринки.

Маринкин муж был родом из Винницы.

А там (редкая удача при сумрачном анемичном ленинградском климате) в солнечном благодатном краю недалеко от Южного Буга у свекрови имелся дом и сад. А потому Маринка с ее маленьким сыном Виталиком была ежегодно ссылаема на лето в Винницу к родителям мужа, где проходила, как она выражалась, «курс усиленного питания».

Еще в самом начале, когда молодая жена предстала перед строгим родительским оком, свекровь сокрушенно покачала головой:

– Уж больно худо... – и через паузу с воодушевлением. – Ну ничего, подкормим!

Хотя на наш просвещенный питерский взгляд Маринка была абсолютно нормальна и все необходимое очень даже присутствовало в ее ладной и очень женской фигурке. Летнее утро в Виннице по Маринкиной версии выглядело так. Свекр со свекровью поднимались, умывались и начинали размышлять.

– Что мы будем завтракать, Поля? – шумно дыша, обращаясь сто двадцаткилограммовый свекр Гриша к своей стокилограммовой жене. – Завтракать нечем..

Холодильник ломился от еды, в многометровых,

оборудованных, как «бункер Гитлера», по едкому Маринкиному замечанию, погребах стройными рядами покрывались нежным слоем пыли необхватные бочонки, пузатые бутылки и разнокалиберные банки со всеми видами солений, перчений и варений.

На скатерти-самобранке в одно мгновение возникли яства, описывать которые я не возьмусь. У меня, увы, не так утонченно развиты вкусовые ощущения, а при пересказе подобной трапезы нужен совершенный законченный гурман.

В общем, в саду завтракали, неспешно пили чай и отправлялись на рынок. Здесь следует заметить, что рынок вообще-то питерское слово, в Виннице обычно говорили – базар. Так вот с базара в огромных авоськах приносили кровавые, трескающиеся от спелости помидоры, невиданных размеров лакированные «синенькие», три вида брынз, творог и сметану, охапки зелени, парную телятину, черешню и обязательных куриц.

Куриц щипали в туалете.

По всему дому медленно кружились перья, пух плыл, как снег в замедленной кино съемке, а гарь и чад жарки щипали глаза. Проходили три-четыре часа.

Что мы будем обедать, Поля? – говорил Гриша. Обедать нечем... Через час после обеда, отдуваясь, вновь неспешно пили чай с пирогами... Мыли посуду. Солнце медленно катилось к краю неба.

Что мы будем ужинать, Поля? Ужинать нечем.

Естественно, Маринка, образованная и эмансипированная ленинградская женщина, в эту жизнь не вписалась. На Маринку махнули рукой.

Мне такой режим жизни не выдержать, твердо сказала она свекрови. – Только если вы хотите внука сиротой сделать, тогда пожалуйста... И га отступила, чувствуя крепость Маринкиного характера.

Сложнее было с Виталиком. Как только Маринка отлучалась или, не дай бог, уезжала по крайне неотложным делам, ребенка кормили каждые полчаса. Для раскрывания клюва бедного детеныша, единственной и ненаглядной кровиночки, изобретались самые изощренные методы. Что там хрестоматийное – ложечку за

папу, ложечку за маму и за мое, бабушкино, здоровье...

Маринка как-то описала следующую сцену, которую застала случайно, в неурочное время вернувшись домой. Свекровь сидит на коленях перед пунцовым от крика, уворачивающимся от занесенной ложки Виталиком, в то время как свекр, стоя на стуле, качает люстру. Ребенок замирает на мгновение от волшебного звона хрусталинок, отвлекается на секунду и... Победа! Бабушке удастся впахнуть в него еще одну ложку каши.

Через несколько минут от перекорма ребенка рвет. Здоровый организм все-таки защищается.

Ну вырвало ребеночка, ничего... Через полчаса опять можно покормить, – спокойно говорит свекровь и выразительно смотрит на Маринку.

Если в любое время суток в дом заходит гость, неважно сосед ли родственник или просто мало знакомый человек, его первым делом не спрашивают – как дела, как ваше здоровье? А говорят: «Сядь покусай.» И он кушает, и в сытом экстазе закатывает глаза...

Сама Маринка готовить не умела.

– Я женщина не для кухни, а для гостиной, – иронично парировала она горестные восклицания мужа.

К слову, с мужем Маринке повезло. Сын винницких родителей он не унаследовал их всепоглощающей обеденной страсти. Алик обладал чувством юмора и прогрессивным для советского мужчины мировоззрением.

Лучше культ еды, чем культ личности, – обычно говорил он, стоя в кухонном фартуке у плиты и помещивая что-то в кастрюле.

Маринкин муж умел прекрасно готовить. В их ленинградском доме приготовлением пицци занимался только он.

– Ты, Мариш, лучше чем-нибудь интеллектуальным займись. Твой обед – это просто перевод продуктов.

И все это без злобы, с завидным добродушием.

В общем, как говорит одна моя знакомая, где такого мужа найти?

Но и у Маринки были свои большие достоинства.

Например, она была блистательным рассказчиком и умело тонко подмечать характерные детали окружающей ее жизни.

Вот одна из ее историй про Винницу.

Лето. Свекровь стоит на своей бессменной вахте у плиты и варит, жарит и тушит. Свекр возвращается с работы с зарплатой. Вот уже тридцать лет он работает на швейной фабрике, где чинит швейные машинки.

Гриша, сколько ты принес? - строго спрашивает Полина.

- Восемьдесят.

А почему не девяносто?

В следующем месяце Гриша приносит девяносто.

А почему не сто? - удивляется свекровь.

Или возвращается свекровь из магазина с большой сеткой апельсинов.

- Хорошо, - говорит она домашним, - если эти апельсины из Марокко. А то на прошлой неделе купила я пять кило грузинских. Так то - такая кислятина, такая кислятина... Отдала брату. Слава богу, у него сахарный диабет...

Мы от души смеялись, когда Маринка описывала следующую сцену:

Свекровь долго ругает за провинность своего младшего сына Борю, редкого шалопая. Ах ты бездельник, негодяй, тунядец, скотина!..

Да, - отвечает тот. - И кто это ценит?

В общем, по осени к Маринкиному возвращению в Питер мы собирались за обильно накрытым винницкими разносолами столом, вкусно ели, провозглашали тосты за здоровье стариков и за искусные руки Полины и хохотали над Маринкиными историями.

А потом свекрови не стало. Она умерла в одиночестве, стоя у плиты, помешивая ложкой очередное свое яство... Схватилась за сердце, осела мягко на пол, а когда приехала неторопливая винницкая «Скорая», помочь уже ничем было нельзя.

Маринка вернулась с похорон почерневшая. Знаешь, а дом без нее совсем опустел. И Виталика никто теперь так не накормит, и к столу не позовет... - Маринка подняла на меня посерьезневшие глаза. - Я все

думаю, что же заставляло ее все время готовить, стоять на своей кухонной вахте и раскрывать наши непокорные рты, клювы ее детенышей. Может, эта впитанная генами еврейская необходимость выжить? Выжить физически, во чтобы то ни стало, как род? ...А я готовить не умею. Бабушка не обучила маму, а мама меня. Поэтому, когда мой сын еще тем в Ленинграде на вопрос воспитательницы в детском саду «Какое блюдо вы, дети, больше всего любите?» Ответил: «Грибенкес» А дети хором: «Такого нет!» В их словах была частичная правда. Все бабушкины рецепты ушли в небытие. Когда бабушки не стало, в нашем доме не стало и грибенкес.

Если есть жестокая необходимость, я открываю книгу «О вкусной и здоровой пище» с красивыми картинками и мучительно пытаюсь из нее что-то изобразить. Здесь, в Германии, к ней по иронии судьбы добавилась брошюрка «Российская кухня». Но это ничего не меняет. Готовить я так и не научилась. В общем, как говорила Маринка, женщина не для кухни, а для гостиной. А жаль...

# ЛЕОНИД СЫСОЛЕТИН

## КРЕДО

Я грешен. И грехи чужие  
судить не мне, судить не вам  
кто приобрёл чины большие  
на службе разным божествам.

Не в храме Бог. И не священник  
творит молитву за меня.  
Ни обрезанье, ни крещение  
от дел греховных не хранят.

Я свято верю в Высший Разум,  
что правит миром и войной,  
как бы его ни называли:  
аллахом, богом, сатаной.

Я только перед ним в ответе  
за всё, что думал и творил,  
за всё, что я, живя на свете,  
во вред кому-то говорил.

Отвечу я за свой проступок.  
За твой – держать тебе ответ.  
И пусть в любое время суток  
не спит в нас Совесть с юных лет.

\* \* \*

Белый пёс. Граммофон с раструбом.  
От камня – загадочный свет.  
Сколько лет с той поры так глупо  
пролетело растраченных лет.

Пёс закончил свой век короткий.  
Граммфона с раструбом нет.  
И я выпью сегодня водки,  
и поеду на красный свет.

# ВЕРА ФЕДОРОВА

## Из стихов для детей

### СОРОКА

Серая сорока  
по лесу летает.  
По лесу летает,  
сплетни собирает.

В сумку – про букашек,  
в кошелёк – про птичек,  
про волков – в кармашек,  
в клюве – про лисичек.

Всё про всех узнает,  
всё про всех расспросит,  
как и подобает,  
на хвосте разносит.

Раздала улиткам –  
пусть везут проходим.  
Старые – со скидкой,  
свежие – дороже.

Расползлись все склоки,  
прилепились чётко.  
Верите сороке?  
Ведь она – трещотка!

### ЧЕРВЯК

Посреди сырых коряг  
из земли торчит червяк.  
Рядом с ним ещё один  
подкоряжный гражданин.

А, привет, сосед, привет!  
Приглашаю на обед.  
Здесь такой уют и мир,  
мы с тобой устроим пир.

Ну какой же я сосед?  
Вместе мы уж столько лет!  
Скоро выйдешь в полный рост  
и увидишь: я – твой хвост.

## ЛЯГУШКИ

На болоте две лягушки  
танцевали краковяк.  
Подпевали им подружки –  
пели дружно, пели так:  
Ква-ква-квак, ква-ква-квак! –  
пели дружно, пели так.

Подошла к лягушкам цапля:  
– Я вам тоже помогу.  
Лишь воды блеснула капля,  
а лягушки ни гу-гу.

Как же так, как же так,  
потерялся краковяк.

# ГЕОРГИЙ ХЛУСЕВИЧ

## ЧЕРЕПАХА

Она смугла, с темным пушком над губой, в шелковых ресницах, изящна, но без выраженной талии, что не редкость среди евреек; он – с гипертрофированными семитскими чертами умного подвижного лица. Они прошли совсем рядом, о чем-то оживленно разговаривая.

«Боже мой! Он еще и картавит, – болезненно скрипил рот сидящий на лавочке молодой человек, – представляю, как он себя чувствовал в школе, если такие, как он, были в меньшинстве, какие издевательства ему пришлось вынести. Вот невезение!» Студенту медицинского факультета Илье К., а именно он, сидя в зале ожидания железнодорожного вокзала, обратил внимание на проходящую мимо парочку, тоже крупно не повезло в детстве.

Единственная (кроме его матери) еврейка в городе Губаха была редкой грязнулей и носила смешную фамилию – Шильдкрот. Впоследствии Илья узнает причины ее патологической нерасторопности: Шильдкрот – по-немецки – черепаха, следовательно, она просто оправдывала свою фамилию. И хотя рядом в бараках проживали тоже не бог весть уж какие аккуратистки: мурки вокзальные, воровки и пьяницы, только Шильдкротиха была всеми дружно презираема и имя ее стало нарицательным. Скажем, сплетничают про какую-нибудь неряху и обязательно скажут: «Ой! Она такая Шильдкротиха!». Даже вечно хмельная Полина лахудра и простигосподи, кормившая золотушного недоноска пережеванным черным хлебом, сплюнутым в специально сшитый членовидный мешочек из старого чулка, даже она осуждала Шильдкротиху. Наплюет, бывало, полную самодельную соску, сунет ребеночку в рот: «С'оси, давай!», и пошла Шильдкротихе косточки перемывать.

И выстрадал в ту пору Плюшка убеждение: «Еврей-

ка не имеет морального права быть грязнее окружающих, а еврей не должен быть жаднее и трусливее других, а если таковые встречаются, так это провокаторы, вредители и первейшие враги еврейского народа. Иудей всем своим поведением, манерами и обликом не должен быть похожим на карикатурный образ Абрама и его жены Сары из антисемитских анекдотов. Не надо козлам давать повод для сочинительства».

Тщательно скрывал Илюшка свою половинчатую евренность, а зря! Все равно ведь догадывались. Пришел как-то Ваня Марченко от Илюшкиной сестры поздновато: «Мамо, я исты хочу», а мать ему на всю улицу: «Иды жрать до цих жидив». Тот же Ваня демонстративно каргавил в присутствии Ильи, хотя с произношением у Ильи было все нормально, называл кукурузу «кукухузой», хохотал и спрашивал: «А правда, что евреи отвечают вопросом на вопрос?» или «А твои родители в Ташкенте во время войны от жары не мучились?».

Не мучились. Не успели – всех родных по маминной линии расстреляли немцы, а мама в концентрационном лагере в Даугавпилсе скорее мерзла, чем потела. Прилиwała кровь к лицу и стучало в висках от мучительного стыда за всех иудеев, когда Ваня, изображая молящегося еврея, комично раскачивался с книгой в руках под громкий хохот всего класса. Смешно, конечно, но с тех пор любая фамилия, оканчивающаяся на букву «о» тут же ассоциативно связывалась в голове с фамилией Марченко и вызывала у Ильи стойкое отторжение. Даже восхитившись ештушенковским «для всех антисемитов я – еврей», он подсознательно прикинул кумира тайным определением «хохол, но хороший», ничем, в сущности, не отличаясь от тех, кто, восхищаясь тем же Райкиным, говаривал: «еврей, но хороший». Лет через десять наступит переосмысление. В городе Благовещенске он познакомится с человеком такой безукоризненной честности, такой невероятной доброты, такой непоколебимой безоглядной храбрости, такой безоговорочной порядочности, что раз и навсегда будут реабилитированы все, которые на «о». Фамилия этого лучшего из людей будет – Фисенко Вя-

человек. А еще лет эдак через, да это неважно когда, важно, что случилось, он прочтет у умнички Дины Рубиной: «Евреи не нуждаются в посторонних антисемитах. Они сами по себе отличные антисемиты. Ницше увял бы на заседании Кнессета».

Нет, его никто не бил, да он бы и не позволил, но эти, которые на букву «о», создавали в школе мерзкий и унижительный образ жида, к которому он, имеющий еврейскую кровь, имел прямое отношение. Человек многое срисовал с животных. Ездовая лайка рвется с цепи и болеет, когда ее по каким-то причинам не ставят в упряжку. Все собачки бегут, высунув от усталости языки, а она одна нет. А хочется, как все! Кажется бы, сиди себе в теплой клетке, пока другие бегут из последних сил, стирают в кровь себе лапы шершавым от лютого мороза снегом. Так нет же! Хочу, как все! И ребенку хочется быть, как все, но ему недвусмысленно дают понять, что он не такой, что он не из их обоймы.

«Ну и ... вам в дышло!» – скажет взрослый, а ребенок так не скажет и никогда не подумает. И ощущение его ущербности поймет только тот, кто побывает в его шкуре. Не был исключением из правил и Илья. Даже в стихах пытался свое гадкое самочувствие выразить.

Хлыстом свистящим слово «жид»

Не обо мне, но я взбешен.

И вот мой праг в крови лежит,

Свинцом смертельным поражен.

Я стал им мысленно картель,

Но не являлись на дуэль.

Откуда у евреев такая страсть и способность к стихоплетству? Напрашивается следующее объяснение сего феномена: антисемиты загнали евреев в скорлупу неофициального гетто и тем самым стимулировали у последних позыв к поэтическому самовыражению. Другими словами: склонные к бунтарству евреи практически не преминули воспользоваться единственной легитимной формой протеста. Вполне вероятно. Во всяком случае, об этом же и Марина Цветаева пишет:

В сем христианнейшем из миров

Поэты жида

И в армии скрывал принадлежность к Шильдкром-

них, как вдруг прочитал в солдатской настольной книге «На страже Родины» статью о героях Советского Союза среди различных национальностей. Разделил количество оставшихся евреев на количество героев, ныне здравствующих и награжденных посмертно и обалдел: «А в процентном отношении евреи не только не трусливее других, но даже превосходят многих по числу смельчаков на душу населения». А как узнал, что дева Марья, Христос, все апостолы, Карлы Марксы, Чарли Чаплины, Барухи Спинозы всякие тоже евреи, так совсем загордился и стал проституировать. Фамилия у Ильи белорусская – Тимахович, ну раньше, бывало, на подозрения дураков объяснял с жаром, что Тимахович – это вам не Рабинович, а теперь, если видит, что человек имеет понятие о Христе да об его матери, даже намекать стал, что, мол, и во мне кровь имеется, да-с... А вот если Полина про Шильдкротиху гавкает – он молчит, как воды в рот набрал, вроде: «А я тут при чем?». Но чувствует с удивлением, что и Полина раздражать стала, так бы и взял у ребеночка хреновидный мешочек с наплеванным туда хлебушком и по морде ей, по морде, по морде!

А как школу вспомнит, так обидно станет, что и учителям некоторым этим изделием не мешало бы. Математичка дискриминировала утонченно и с наслаждением. Выучит Илюшка матерьял, тянет руку, тянет – поль внимания. Надоест ему, задумается, в окно посмотрит, на какое-то время утратит бдительность, а она его бац! Ну-ка, отвечай! А он и вопрос-то не услышал. Получи двоечку, пархатик! И литераторша-онанистка, вечно лобком о край стола елозит, читает Дермонтова:

Не то, что нынешнее племя,  
Богатыри, не вы,

прервется, на Илюшку пальцем укажет: «Не то, что ты! Худосочный!» и дальше читает как ни в чем не бывало. Ну а как про покушение на вождя мирового пролетариата рассказывает, так увлажнит шкодливый глаз притворной печалью и обязательно подметит: «Эта еврейка Каплан» и на Илюшку взглянет, как выстрелит. На мазилу эту Илюшка тоже зуб имел. С трех ша-

гов попасть не смогла, а теперь пятно на всю нацию. Потом, когда ненависть к недостреленной падле сведет на нет неприязнь к близорукой эсерке, он напишет:

Когда б Господь возможность дал

Стоять с Каптан, от счастья тая,

Я б обязательно сказал;

Прищелься лучше, дорогая.

Стал задумываться: «Ну хорошо, Шильдокротиха редкая засранка, но ведь не потаскуха, не воровка, не пьяница, а если бы и так, то моя мама тут при чем?» И все это в себе, нервозен стал, вспылчив, плаксив, и не тогда, когда его бьют, заплачет, а как-то непонятно поют песню Островского по радио «А у нас во дворе», и вдруг комок в горле. Досаждало беспричинное беспокойство, и вспылчивость пугать стала. Но не тогда в бешенство приходил, когда его обижали, а когда других, которых он жалел. Глупость, конечно. Дважды рассудок терял из-за бешенства, и оба раза из-за собак. Идет как-то раз домой, а у водокачки два друга животных, значительно старше и крупнее его, щенка в луже топят. Что-то сделалось в голове, в глазах неприятно горячо стало. Славно их отвалдохал, а щенка домой унес. Через какое-то время, уже в классе девятом, возвращается раз из школы, а его Жульку прямо со двора собачники волокут.

«Не зарегистрированная» – говорят, а у нее щенки в будке. Опять жар под бровями, мигом в сарай и за топор. Догнал одного, ударил, и искры из глаз. Сел в сугроб. Оказывается, пришлось удар по веревке для белья (на Урале высоко снегу наметает), топор сыграл назад и обухом по лбу. Вскочил и к клетке. Открыл, собачек пленных выпустил, и рубил в бешенстве уже пустую собачью кутузку, в мелкие щепки рубил, как будто бы он головы потенциальным погромщикам сносил по самые плечи, наивно полагая, что уж еврей ни за что бы в собачники не пошел. Все правильно: душище кошечек ли, собачек ли будет гражданин Шариков, но вот возглавит борьбу с незарегистрированными животными и поставит процесс уничтожения оных на индустриальные рельсы верноподданнейший еврей Швондер.

Донимал еврейский вопрос. Он же понимал, что

будь он хоть Илья Муромец – всех антисемитов не перебить, но стал получать моральное удовлетворение, когда появлялась возможность сказать им все, что он о них думал. А главное мучение получал оттого, что все пытался выяснить, кто кого лучше.

Едет в поезде хохмач, купе веселит, врет, что с цыганкой любовь крутил, на грузовике к ней в табор ездил.

«Я, вообще–то, в университет поступал, но арифметику завалил».

«А «Чистописание» и «Родную речь» сдал?» – поинтересовался Илья, но рассказчик иронию не усёк.

«Родня ейная на дыбы! Один раз еду от нее, еврея по пути прихватил, а цыгане дорогу деревом перегородили и ко мне с ружьями. Кое-как их уболтал. Еду. Что такое? Воняет в кабине и все! А это старый жид со страху обосрался!»

Хохот в купе, веселье, радуются, что не они обделались, а еврей. Как тут поступить? Объявить, что тоже – еврей, пожалуй, обнюхивать начнут, а вдруг он в кабине на самом деле того, хотя в книге «На страже Родины» другое пишут. Раздвоение, сомнение, комплексы, мрак!

Все стало на свои места, все прояснилось, когда в институт поступил. Синагогой в середине семидесятых называли Пермский институт.

Русской женщине, ректору института Татьяне Владимировне Ивановской, под свое крыло евреев собравшей, в другие вузы, по причине пятой графы не принятых, – Алиллудя!!! Потому что пришедший вслед за ней новый ректор весь этот кагал разогнал.

Как на марсиан смотрел на единоверцев. Он, имеющий пятьдесят процентов их крови, видел живых соплеменников впервые. Недоверчиво, придирчиво их изучал, со страхом ожидая обнаружить в них признаки тех Абрамчиков из анекдотов. Отметил с удовлетворением, что говнюки среди них, конечно, имеются, но паскуд не больше, чем среди лиц других национальностей. Определенно не больше.

А главное – с ними было весело, и юмор их казался Илье каким-то неожиданным, что ли, хотя, если глуб-

же копнуть, – нет и не может быть ожидаемого: ни юмора, ни счастья, ни веселья.

На третьем курсе приехал осенью Илья на занятия и застал друзей в большом унынии. Сели в покер играть с какими-то шулерами и продулись в пух и прах. Очень кстати пришел Семен из Одессы с аппетитной абитуриенточкой и объявил, что есть шанс поправить хреновое финансовое положение. Риск, конечно, но если все продумать – можно заработать неплохо. И перебивая друг друга, они рассказали следующее. Приехала еврейская красавица Регина из Черновиц поступать в мединститут, подошел к ней представительный мужчина лет тридцати, представился членом приемной комиссии, узнал, что поступает сама, без знакомств, удивился до степени огорчения: «Вы с ума сошли, у вас же нет ни малейшего шанса для поступления» – и отошел. А следом за ним две абитуриентки подбежали и раскрыли секрет, что они этому члену комиссии по четыре тысячи отстегнули и теперь дело в шляпе. Член этот связи имеет громадные, с самим ректором дружит и устроил в институт уже не одну. Регина к нему. Согласился благодетель устроить ее в вуз исключительно благодаря возникшей у него к ней симпатии и взял недорого, всего-то три тысячи запросил. А первая модель «Жигулей» стоила в те времена чуть больше пяти тысяч. Деньги не малые, но институт стоил того. Помчалась на почту, дала бабушке телеграмму, деньги получила и другу ректора отдала.

«Считайте, что ваш экзаменационный лист уже лежит на столе у ректора» – так и сказал, но вот посмотрела Регина списки поступивших и своей фамилии там почему-то не нашла. Ходила к нему несколько раз домой – в квартире никого нет. «Стоп, стоп! Он что? Такой идиот, что свой адрес дал?» – удивилась аудитория. Смутилась, обманутая мошенником, он, дескать, на меня глаз положил, потому и взял не четыре, а только три тысячи, и домой два раза приводил; она у него даже ванну принимала и в красном халате его жены после водной процедуры отдыхала. «Он не гусар, – решились студенты, – гусары денег не берут!»

Итак! Эти две, что якобы по четыре куска отстегну-

ли. – подсадные утки. Афера у представительного жулика, в сущности, беспроигрышная. Поступит сама прекрасно, не поступит – деньги назад: извини, не получилось. Но почему он деньги – то не возвращает? Объяснение было только одно: думал, что девочка – еврейка, значит, усидчивая и неглупая – поступит сама, поэтому деньги уже вздохматил, а теперь прячется. Глупость совершил, конечно, что дом показал, но «сердцу не прикажешь». А кто он такой? Фамилия Якович, бывший офицер-пограничник, уволен из рядов по состоянию здоровья – холецистит, что ли? Родом то ли венгерский поляк, то ли польский венгр, в свободное от афер время подрабатывает переводами с венгерского. Мастер спорта по самбо. Самое удручающее впечатление произвела информация о спортивной подготовке мошенника.

– Тут ведь и горячие глазки не помогут. – съехидничал Семен. Он уже имел удовольствие видеть, как Илья впадал в известное состояние.

– Не подначивай! Да будь он трижды чемпион мира, а в тесном помещении ничего не сделает с тремя простора нет для проведения приема.

– Вот если бы он был чемпионом мира по боксу....

– И боксера задолбим, – уверенно заявил Илья. Он вырос в Губахе, а шахтеры в деле долбежки – специалисты признанные.

Был продуман сценарий. Дверь не открывают потому, что видят в глазок Регину. Значит, нужно ее спрятать, позвонить самим, наврать про необходимость перевода с венгерского. Бить сразу в прихожей, не дать выскочить в зал. Все остальное по ходу дела или, как говорят партийные функционеры: «в рабочем порядке». Семен идти на дело отказался наотрез, поскольку тяжелее ложки в жизни своей ничего не поднимал, но как будущий хирург дал совет: первым должен ударить Илья, потому как он – левша, а левой удобнее бить по холециститу. А еще посоветовал до начала операции обговорить с Региной сумму вознаграждения.

«Если, конечно, Якович вам яйца не оторвет», добавил он весело.

От него отмахнулись: «Сама не понимает, что ли?»

Деньги фактически просраны. Если вернем, рассчитается по царски».

«Только убийство, только ограбление», – повторяли два добровольца Юра и Саша, в плечах широкие, в жопе – узкие, а Илья им отвечал: «В рабочем порядке», и все нервно хохотали, пытаясь скрыть волнение.

Позвонили. Регина стала вне досягаемости глазка. Ответил детский голос:

Папы дома нет, а что вы хотели?

– Мы студенты исторического факультета, имеем ценный документ на венгерском, – необходимо перевести.

Дверь открыл мальчик лет восьми, предложил пройти в зал. Это был провал. Во-первых, как бить отца при сыне по больному желчному пузырю? Во-вторых: в зале много места для проведения приемов самообороны. Пройти отказались. Сказали, что торопятся, что времени в обрез. Сработало, Янкович вышел сам, облокотился спиной о косяк, закрыл дверь в зал. Спокоен, спортивен, на голову выше студентов.

– Где документ?

– Он у товарища в подъезде.

Юра открыл дверь, и вошла Регина.

– Сколько? – спросил Илья.

Янкович повернулся к Регине и стал к нему правым боком.

Гри, – ответила Регина, и в ту же секунду Илья пробил коротким прямым ударом точно в область печени.

Янкович побледнел, медленно присел на корточки и его вырвало желчью.

Боксер, что ли? – спросил он Илью, тихо спросил, но без тени испуга.

А ты не понял?

– Жида меня еще не били, я тебе этот удар не прощу, скажи спасибо, что у меня обострение холецистита.

Деньги гони!

Прошли в зал. Янкович сел в кресло, держась за правый бок. Болезненная гримаса пробежала времена ми по его лицу, но внешне он не был похож на челове-

ка, попавшего в неприятное положение. Наоборот, казалось, что он точно знает, как из этой щекотливой ситуации выпутаться, не ущемляя собственных интересов. Денег дома, конечно, нет, он вообще не имеет понятия о финансовом положении дел в семье – этими вопросами занимается жена, сейчас Гарик сходит, позвонит ей на работу (это рядом), супруга принесет должок.

Гарик! Сходи, позвони маме, – крикнул он в детскую.

– Не надо, Гарик, тетя Регина сходит, – отменил отцовский приказ Илья, тут же сообразив, что вместо мамы могут пожаловать папины друзья с пушками и тогда наверняка сбудется прогноз веселого Сенечки. Пришла, запыхавшись, встревоженная жена.

– Лена! Они меня били, – пожаловался Янкович.

– Эти сопляки?

Тут только стал ясен продуманный опытным в подобных делах Янковичем план спасения. Сейчас жена поднимет крик, соседи вызовут милицию, этих дураков повяжут за избиение и вымогательство – это легко доказать, даже Гарик подтвердит, а вот факт получения денег Янковичем от такой дурочки доказать будет трудно.

«Похожа на истеричку, – соображал Илья, сейчас взвывает от жалости к супругу. Чем нейтрализовать маму? Есть только одно противоядие от сострадания к любимому и средство это испытанное, называется – ревность!»

– Симпатичная девушка, – спросил Илья и, не дожидаясь ответа, – вот он, – кивок в сторону мужа, считает ее красавицей. У вас есть красный халатик? Вот, разлюбезный ваш халатик этот в ваше отсутствие на мою невесту примерял, не бесплатно, разумеется, он с нее за услуги три тысячи взял.

– Скот! Грязный, похотливый скот, – заплакала Лена, – опять тебя, сволочь, отмазывать?

Договорились, что деньги Лена привезет через два часа к почтамту. Ребята сомневались, но Илья почему-то был уверен, что их не обманут. Ровно через час подъехала жена Янковича, извинилась за причиненное

беспокоенство, сунула Илье конверт и пошла прочь, явно торопясь куда-то. Ее догнали, предложили посчитать деньги, не отходя от кассы, – не хватало шестисот рублей.

– У нас больше нет, – сказала она с раздражением, – я и так заняла.

– А вот у ее бабушки тоже нет, – печально констатировал Илья. – Она эти рублики на смерть припасла. Ждем еще час, потом не обессудьте – идем к ментам. И учтите: захватываем с собой еще две жертвы вашего любвеобильного мужа. Вы, конечно, знаете, что три свидетеля – это срок! А эти деньги заберите.

Илья шел ва-банк и правильно делал, потому что через час деньги были возвращены в полном объеме. Регина пересчитала содержимое конверта: «Ой! Те же купюры, что я ему отдавала!».

Она спрятала деньги в сумочку и странное дело: преданно собачье выражение ее лица совершенно отчетливо, ну прямо на глазах преобразовалось во враждебность.

Пойдем к оперному скверу, – предложил Илья.

– Ну, допустим, никуда я с вами не пойду, – холодно и решительно заявила Регина, – если я вам что-нибудь должна – скажите здесь.

Она отошла к середине тротуара, так что прохожие были вынуждены обходить ее с двух сторон, явно мешала движению, но, по-видимому, чувствовала себя на людях в безопасности. Если бы материализовался смысл слов «сгорел со стыда», то вспыхнул бы ярким пламенем Илья и испепелился бы на глазах своих русских друзей. «Хорошенькое дело, – думал он, – мы рискуем собственными задницами, институтом, свободой, да я бы лично и бесплатно согласился, но ребята! Они же знают, что она – еврейка! Позор какой! Сука! Тварь! Гадина!»

– Нам никто ничего не должен, – сухо сказал он, – кстати, у вас в родне нет фамилии Шильдкрот? Ах, нет? Странно, странно, поверить не могу.

Как это никто ничего не должен, – закричали в унисон широкоплечие, – а пару бутылок коньяку для снятия напряжения?



Он резко повернулся, и это спасло ему жизнь. Удар букетом прошелся по касательной, вспорол лезвие кожу, побежало теплое по животу, упали на асфальт бутоны георгинов, и стал хорошо виден спрятанный в цветах клинок. Второй удар он принял согнутой в локте рукой, и прокол плеча тоже показался безболезненным – ожгло как будто. Третий укол был бы смертельным, не попали он в томик Решетова. Нападающие занервничали, стали наносить беспорядочные удары, один, торопясь, махал букетом, как саблей, другой пытался уколоть. Еще в четырех местах разрубили предплечье. Илья убегал в сторону горнозаводской линии, зная, что поступает неправильно. Бежать надо было к вокзалу – там свет, люди. Ни в жизнь не догнали бы Илью два закуренных уголовника, но хлестала кровь из разрубленных сосудов на руках, он споткнулся на ровном месте, и что-то тупо ткнуло в спину. Закричали из вагонов проводники, бежали к месту происшествия сотрудники железнодорожной милиции.

Теперь уже эти двое убегали в темноту, бросив ненужные букеты. Илья сплюнул кровью и попросил первого подбежавшего: «Возьмите в ларьке целлофановый мешок и прижмите к ране, иначе разовьется...». Он не успел сказать, разовьется ли пневмоторакс или гемоторакс, а может быть то и другое, поплыл куда-то в сторону перрон, тошнотворная слабость сделала ватными ноги, он упал на спину, как на подушку, ощущал, что куда-то его несут, но не было сил ни двинуться, ни заговорить. Открыл глаза, понял, что уже прооперировали, боли почти не ощущал.

«Наверное, промедол в капельнице, – сообразил вяло, – поэтому такая дремотность приятная».

«Кто это вас? За что?» спрашивал одетый в халат «на вырост» молоденький следователь прокуратуры. – Есть ли у вас враги? Угрожал ли вам кто-нибудь раньше? И кто такая Шильдкрот? Вы в постнаркозном состоянии несколько раз эту фамилию упоминали».

«Да, но из за нее, конечно», подумал Илья и сказал тихо: «Врагов не имею, нападавших не знаю, спать хочу».

# АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

## ИЗРАИЛЬ

Твоя судьба – земли родной клочок  
в пустынном крае, знойном и безбрежном,  
рассеянья разрозненный поток  
и свет неумирающей надежды.

Израиль, Обетованная земля,  
многострадальный край мой благодатный!  
Душой к тебе всегда благоволя,  
в долгу я пред тобою неоплатном.

Заветный край, в котором я не жил,  
не строил дом и не молился в храме,  
где ничего ещё не совершил,  
расцвёл под голубыми небесами.

И в трудный час мучительных тревог,  
вражды слепой – вражды непримиримой  
все, кто в сердцах любовь к тебе сберёг,  
Святой Земли мы повторяем имя.

\* \* \*

Меня когда-то ранила война –  
безжалостным крылом своим коснулась,  
но думал я, что рана затянулась  
и не напомнит о себе она.

Меня когда-то ранила война –  
и Бабий Яр забыть совсем не просто,  
но дымными печами Холокоста  
душа моя навек уязвлена.

Меня когда-то ранила война,  
и в памяти – зарубками потери.  
Я в справедливый суд уже не верю:  
сегодня обезличена вина.

Меня когда-то ранила война,  
но снова кровоточат раны...  
Уносят взрывы пламенем багряным  
людские жизни, души, имена.

ВОЗНЕСЕНИЕ  
( 9 мая 2002 года)

Два праздника в один весенний день...  
Даёшься диву странным совпадениям!  
Благословись и руки вверх воздешь,  
коль веруешь в Господне Вознесенье.

А может, ты отправишься с утра  
к стареющему памятнику Славы  
и даже вспомнишь русское «ура»  
не с пьяных глаз, не в шутку, а по праву.

...Им всё равно, кто прав, кто виноват.  
Горька победа, как и поражение.  
Земле – последнее пристанище солдат,  
а небу – душ солдатских вознесенье.

Ты вспомни путь по адовым кругам,  
помеченным и кровью, и слезами,  
и выпей в этот день заветные сто грамм  
за ту Победу, что была за нами.

• • •

Памяти В Высоцкого

Не отнесись, мой друг, ко мне предвзято,  
в моих стихах второго плана нет.  
Я не терплю словес замысловатых,  
я не эстет.

Как ясности нам часто не хватает.  
Теряемся мы в лабиринте лет...  
О том, как обложили волчью стаю,  
нам пел поэт.

Просты аккорды, и поёт надсадно,  
но ранит душу звуков волшебство.  
И понял я, что это не эстрада,  
не озорство.

Давай-ка обойдёмся без дебатов.  
Подтекста в этих строках не нищи.  
Мне по сердцу тот голос хрипловатый  
и слово – будто камень из пращи.

\* \* \*

Когда нетерпимость  
господствует в мире  
и голос теряет  
певучая лира,  
а в тине разврата,  
больна немотою,  
горюет любовь  
безутешной вдовою,  
не надо танть  
среди дня голубого  
согретое чувством  
заветное слово,  
и к тем, кого любим,  
не будем так строги –  
любви  
никогда  
не бывает  
много.

\* \* \*

*А. В*

В тебе одной лишь воплотилось,  
о чём я в юности мечтал:  
походки милой легкокрылость,  
красы желанный идеал,  
восторгов радостная свежесть –  
в разрыв натянутой струны,  
необъяснимая мятежность  
живой, бунтующей волны.  
Сильнее неуёмной боли,  
пришла из юношеских снов  
в души распахнутое поле  
моя извечная любовь.

## БЕРЛИНСКИЕ СТРОФЫ

Речушка малая от парка Вулеталь  
причёсывает водорослей пряди  
и под мостом, за холм зелёный глядя,  
уходит извиваясь вдаль.

Багрово разукрасив свод небес,  
скатилось солнце за далёкий лес,  
и самолёт, огнями померцав,  
проплыл куда-то над тобой, Марцан.

\* \* \*

Шальной Берлин. Забавы и соблазны.  
Лиц пестрота. Шумит людской поток.  
Но всё ещё полны колючей неприязни  
чванливый Запад и больной Восток.

Загадочен Берлин в клубящемся тумане.  
Соблазны томит, прельщенье вяжет сеть.  
И даже мельница на тихом Альт-Марцане  
взмахнула крыльями, желая улететь.

## МАРЛЕН ДИТРИХ

*Легендарной Марлен Дитрих  
через десять лет после смерти  
присвоено звание  
почётной гражданки Берлина.*

В большом Берлине маленькая площадь.  
Их множество, и всех не перечесть.  
Её названья нет, пожалуй, проще:  
«Marlene Dietrich»... Оказали честь!

Не по заслугам? Нет уж, не скажите.  
На этот счёт другие мнения есть...  
Ведь фюрер сам, судеб людских вершитель,  
ей предлагал «в его карету сесть».

Не соблазнилась призрачною славой,  
не уронила честь свою и статью.

...Сентябрьский день окрасился кроваво.  
Мир не спешил спасать и осуждать.

А тех парней, кто стал на путь разбоя,  
она одна бесстрашно призовет:

– Не жертвуйте, не жертвуйте собою!

– Война – дерьмо, а Гитлер – идиот!

...Прощенья нет. Упрёков, оскорблений,  
обидных слов, увы, не сосчитать –  
злой памяти причудливые тени  
из прошлого тревожат нас опять.

Звучит нелепо позднее признание:

почётный титул мёртвым ни к чему.

Гордиться можно самой страшной бранью,  
когда твой голос освещает тьму.

# БОРИС ЧЕРЕПАШЕНЕЦ

## НЕПРИЛИЧНАЯ ФАМИЛИЯ

Он появился на нашем факультете на третьем курсе, переведясь из иногороднего института. В его внешности ничего примечательного не было. Обычный русский паренёк. Разве фамилия была у всех на слуху – Троицкий. Все, конечно, знали, что со Львом Давидовичем он не имеет ничего общего. Тем не менее, произнося, запинались, спрашивая, не еврей ли. Не каждый знал, в чём суть деятельности Троицкого, зато все знали, что он еврей. Сперва Володя рассказывал, что в их смоленской деревне много Троицких, Твардовских, Исаковских, Завадских, оставшихся со времён Речи Посполитой, но вскоре ему надоели эти объяснения и он коротко отвечал:

Фамилия от деда.

Володя был угрюмым, немногословным, всякий раз ожидая от собеседника подвоха...

Странно выглядело то, что этот крупный, плечистый парень подружился с крошечным, тощим очкариком Стасиком Шапиро. С ним одним он был открыт и откровенен.

Почему бы тебе, Володя, не сменить фамилию, неужели не надоели постоянные ухмылки и глупые вопросы? – спросил Стасик.

Разве я виноват, что этот подонок Лейба Бронштейн избрал себе такой псевдоним? Замарал нашу честную крестьянскую фамилию. Мои все предки были Троицкими, сыновья и внуки ими останутся. И давай не возвращаться к этому больше.

Однажды Шапиро Володя, смеясь, сказал Стасику:

– Представляешь, если бы Лейба взял другой псевдоним, ну, Сидоров или там Петров, какой бы шухер поднялся по всей России? Каковы были бы лозунги: «Все на борьбу с сидоровщиной», «Разоблачим презренных сидоровцев», «Иудушка Сидоров», «Фашист-

ский прихвостень Сидоров» и т. д.

Робкий Стасик зашёлся в смехе:

Юморист ты, Володя, тебе бы репризы сочинять.

На институтских соревнованиях по стрельбе перед выходом на огневой рубеж каждый из участников громко называет свою фамилию.

Троцкий, объявляет Володя.

Опешивший инструктор пытается что-то сообразить, но во-время спохватившись, вспоминает, что Троцкого давно нет в живых, и радостно командует:

На огневой рубеж шагом марш! Огонь!

В доверительной беседе со Стасиком как-то Володя заметил:

Все, кому не лень, поносят Троцкого, а ведь его роль в революции и гражданской войне одна из ведущих. Когда-нибудь история ещё расставит всё на свои места,

Быть может. Мне вспоминается фраза, услышанная от одного раввина: «Троцкие делают революцию, а Бронштейны платят по счетам». Вероятно, было бы лучше, если бы Лейба торговал зерном, как его отец, а не лез бы в политику, – заметил Стасик

Шло время. Приближалась пора окончания института. Маячило распределение.

Думаю. Володя, что тебя с твоей фамилией, так же, как и нас, Шапир и Рабиновичей, отправят к чёрту на кулички, с грустью констатировал Стасик.

– Не бойся, друг мой, я уже второй день являюсь Владимиром Николушкиным. Взял фамилию жены, а Троцкий моя девичья фамилия, – заявил Володя.

– Где же твоя принципиальность? А я-то думал, что ты выступишь, не сробеешь.

Знаешь, Стасик, всякая принципиальность имеет границы. Упрямство – это один из видов патологий. Ты – на своём горьком опыте мог убедиться, что в нашей стране против лома нет приёма, – оправдался Володя.

Что ж, теперь мы можем с полным правом рапортовать нашей родной партии, что в институте с троцкизмом покончено окончательно и бесповоротно.

## ДОЛЖНИК

Этот уголок Полесья изобилует множеством озёр. Жемчужиной среди них сльвут три больших озера близнеца, расположенные в густом сосновом лесу. Озёра эти с удивительно прозрачной и мягкой водой, окаймлённые песчаными пологими берегами, располагаются очень близко друг от друга. Местами на перешейке между ними могут с трудом разминуться даже две телеги.

Невдалеке от озёр, к югу, лес сменяется болотными кочками с торчашими стеблями осоки. В лесу, вблизи озёр, на возвышенном сухом месте можно увидеть остатки землянок. Местами стены их уже успели осыпаться, но кое-где ещё сохранились полуугнившие брёвна наката. До человеческого жилья отсюда далеко. Здесь во время оккупации довольно долго располагался партизанский отряд Шмата.

Место для партизанского лагеря было выбрано весьма удачно. Болота и озёра прикрывали его со всех сторон, а лес способствовал маскировке и снабжал ягодами, грибами и топливом. В озёрах водилась кое-какая рыба, а вода в них была просто великолепной. Говорили, что голову этой водой можно помыть и без мыла. Командир отряда Фёдор Кузьмич Шмат был в этих местах личностью легендарной. Рассказы о его героических поступках не очень расходились с действительностью.

Хотя, возможно, их чуть и приукрасила молва. Долго ещё, уже в послевоенные годы, они – эти полуполюгенды передавались из уст в уста. Все, кто когда либо знал Шмата, были едины во мнении, что в этом человеке удивительным образом сочетались лихость, отвага, умение принимать отчаянные решения в экстремальной обстановке и какая-то удивительная скромность, даже застенчивость в обычных бытовых вопросах.

Шмат не был обделён и чувством юмора. Комиссаром в его отряде был офицер из окруженцев, педа от в прошлом, большой любитель спиртного. Его политбеседы обычно отличались большой продолжительностью и крайней туманностью изложения. Говорят, Шмат шутил, что только благодаря этим беседам бойцам и удаётся как-то компенсировать недостаток сна.

Однажды, когда комиссар двое суток подряд продержался трезвым, Шмат велел ему принести справку от отрядного фельдшера, что он ещё вообще жив. Кстати, и сам фельдшер был не безгрешным по этой части. Он очень хвалил качество трофейного спирта, мол, тот абсолютно не отдаёт сивухой. Шмат по этому поводу заметил: «Когда спирт у тебя в аптеке хоть чуть постоит, он становится настолько безобидным, что даже и не горит, только вода в ближайшем озере при этом заметно убывает».

Отряд Шмата вынудил фашистский гарнизон уже летом 1942 года оставить близлежащий районный центр и в дальнейшем появляться в этих местах лишь изредка, с оглядкой, и то в сопровождении бронемашин и танков. Продовольствие отряду поставляло местное население. Вряд ли правильным было бы думать, что крестьяне всегда добровольно расставались со своими продовольственными запасами. Тут-то и проявилась Шмагова щепетильность. Он сам, в не столь давнем прошлом — крестьянин, прекрасно понимал, как-то расставаться с плодами своего труда, особенно если «плодов» этих у самого в обрез, а детей куча. Поэтому, по его приказу, заготовители отряда на всё изъятое у населения выдавали расписки от имени Советской власти за его подписью и с обязательством компенсировать изъятое после освобождения.

Обе стороны мало верили в такую возможность. Шмата, благодаря распискам, всё же чуть меньше мучила совесть из-за изъятий, хоть эта его инициатива была чистейшей воды отсебятиной. Крестьяне же, с присущей им деловитостью, как потом оказалось, расписки эти бережно хранили. Командиры других партизанских отрядов столь опрометчивыми не были, изымали всё им необходимое без лишних формальностей.

Со временем фронт ушёл на запад, отряд расформировался, а Шмат оказался председателем райисполкома в том же районе, где раньше партизанил. Его деятельность на этом поприще была явно менее успешной, чем его партизанские дела. Он имел всего четыре класса образования, был мягок с подчинёнными, да и подчинённые у него в райисполкоме были не совсем обычными. Дело в том, что здешние места раньше входили в состав Польши и «чиновников», умеющих вести делопроизводство на русском или украинском языках, найти было трудно. Поэтому почти все его сотрудники, включая даже заведующих отделами, оказались девчонками 16-18 лет. Они при так называемых «первых советах», в 1939-1940 годах, недолго учились в советской школе и хоть немного владели русским и украинским.

Обычно в начале рабочего дня Шмат находил своих «завотделами» с трудом. Они по часу или более, спрятавшись в одном из кабинетов, обсуждали вчерашние танцы в клубе. Ни внешний вид Шмата, ни его поведение не соответствовали тогдашнему представлению о номенклатурном работнике. От него даже и тройным одеколоном не пахло, не носил он френча, да и заносчивости в нём никакой не наблюдалось. А вот «хобби» у Шмата было он обожал хоровое пение и сам пел с удовольствием, правда, не всегда в согласии с нотной грамотой. Почти ежедневно на крыльце райисполкома выстраивался весь штат и под управлением председателя подолгу звучали украинские народные песни.

Жена его с трудом осваивала манеры поведения «первой леди района». Она без особого стеснения отчитывала мужа за какие-то его подлинные или мнимые прегрешения в присутствии всего райисполкомовского хора, используя при этом неподражаемую красочность украинского языка. Однажды прилюдный разнос завершился даже звонкой пощёчиной, которую бывший гроза оккупантов молча стерпел. Не исключено, впрочем, что кое-какие основания для столь строгих воспитательных мер у неё были. Ещё шла война, большинство мужчин были после освобождения мобили-

лизованы в армию. Забота о семьях легла на женские плечи. По расхожему мнению, память у кредиторон заметно лучше, чем у должников. Вскоре после вступления Шмата в должность председателя на пороге его весьма скромного кабинета появилась старушка из недалёкого села, смущённо потопталась у двери, осведомилась о здоровье его и семьи, а затем достала из кармана домотканной куртки какое-то подобие носового платка и извлекла из него мятую бумажку, которую несмело протянула Шмату. Он без труда сразу узнал свою расписку. После того, как он каким-то только ему ведомым способом расплатился с первыми предъявителями, на него обрушился целый шквал расписок. Его ловили на улице, подкарауливали у дома, ожидали у кабинета. К нему приезжали поодиночке и целыми группами. Иногда он ставил свою резолюцию на расписке прямо на ходу. Для этого просил заявительницу повернуться и скреплял свою подпись исполкомовской печатью прямо на её спине.

Компенсация за изъятое в прошлом добро была обычно неполной. За поросёнка» или даже телёнка крестьяне получали пуд зерна или 5 метров ситца. Часто Шмат распорядился засчитать свою расписку в счёт обязательных поставок продуктов государству. Обладатели расписок таким исходом дела бывали весьма довольны. Они ведь и на это не надеялись. Слух о «небывалой щедрости» председателя распространился далеко за пределы района и охватил даже часть соседней области, то есть почти всю территорию, где раньше действовал отряд Шмата и где в изобилии сохранились его расписки. Люди потянулись к Шмату за «долгами» отовсюду. Говорили, что были и попытки подделок, а иногда эти расписки служили своеобразной валютой при взаиморасчётах между соседями. Их даже получали невесты в приданое. Свадеб, правда, тогда было мало. Из каких фондов Шмат черпал добро для выплат, так и осталось непонятным. Вероятно, сказалась его партизанская привычка действовать по своему разумению, без оглядки на какие-то установления.

В скудных запасах района образовался заметный

изъян. Прокурор как-то намекнул Шмату, что эта его деятельность не очень укладывается в правовые нормы, в его действиях можно усмотреть разбазаривание казённого добра. Областное начальство обошлось с ним довольно г уманно. Его быстренько, от греха по-дальше, сняли с работы и перевели председа телем колхоза в село отдалённое от мест, где он до того партизанил. Здесь расписки его уже не достигали.

Мне довелось познакомиться с Фёдором Кузьмичом много лет спустя. В вестибюле школы-интерната в областном центре невысокий пожилой мужчина с молотком в руках сооружал какой-то гигантский стенд. Его окружала толпа ребятишек разных возрастов, стремившихся оказаться у него в помощниках. Для них он был «дядя Федя», и вовсе не нужна была особая наблюдательность, чтобы заметить, что детвора в нём души не чаёт. Уже сидя у директора в кабинете, я узнал, что фамилия завхоза школы – Шмат. Это он с ребятами трудился в вестибюле. Директор школы и учителя ничего не знали о его партизанском прошлом. Он числился участником войны. Статус этот, одновременно с правом на получение гречки и колбасы в «спецмагазине», он, как и все партизаны, получил только спустя много лет после окончания войны.

Директор школы и учителя самым лестным образом отзывались о Шмате и его работе. Директор посетовала только, что «доставая» какие-то материалы для школы, он иногда действует явно партизанскими методами, и только сейчас, после моего о нём рассказа, ей стало понятно, где и когда он эти методы освоил.

*1999 ноябрь 2001 г.*

## ДОРОГА ИЗ ОСВЕНЦИМА В ТЕЛЬ-АВИВ С ПЕРЕСАДКАМИ

Подделывать документы Слава умел блестяще. Он не часто пользовался этим своим умением, разве что в исключительных случаях, да и то только тогда, когда, по его мнению, это могло послужить очень уж праведной цели. А ведь достоверно известно, что праведные

цели далеко не всегда совпадают с принятыми в любом государстве законами. Впрочем, умение подделывать документы было далеко не единственным славным достоинством.

Львов ещё и в конце сороковых сохранял флер Австро-Венгерской империи начала XX века. Средневековые уютные улицы ещё освещались газовыми фонарями. Их по вечерам зажигали «фонарщики», переходя от одного фонаря к другому. Под цокот копыт на пружинистых рессорах катили фаятоны и кареты извозчиков. В первое послевоенное лето мы трое: я, Слава и Роман поступили на первый курс Львовского медицинского института. Судьба свела нас в комнате общежития, где мы и прожили в одном составе все пять лет учёбы.

Наше общежитие – монастырское здание постройки XVII века – обладало невероятно голыми стенами, сводчатыми потолками и подводкой газа прямо в жилые комнаты. В бывшей монастырской трапезной была открыта студенческая столовая. Пообедав в этой столовой и расплатившись за обед, кроме денег, ещё и талонами из наших скудных продовольственных карточек, мы уходили всегда голодными. Обед мы получали, предъявив раздатчице два талончика: один с овальным штампом – это для жиденького супа, второй с треугольным штампом – это для котлеты, состоявшей в основном из молотого хлеба с еле заметными следами мяса. Здесь-то Слава и посчитал возможным впервые применить своё умение подделывать документы. Не использовав в один прекрасный день свой талон на второе, Слава принёс его домой, и спустя час таких талончиков у нас оказалось множество. Около недели мы с аппетитом поглощали по два вторых, и это наше «счастье» продолжилось бы, если бы не избыточная славина порядочность. Где-то на пятый день нашего благоденствия Слава задался вопросом: вдруг в результате его деятельности у девчат на кухне образовалась недостача? Для выяснения этого вопроса он одолжил галстук у ребят из соседней комнаты и пригласил главную повариху в кино. Вернулся он в восторге: удалось выяснить, что недостачи нет, кроме того его угостили шикарным ужином. Не исключено, что дело не огра-

ничилось только лишь гастрономическими изысками. В любом случае он отказался дальше штамповать талончики, заявив, что, во-первых, он джентельмен и даму дальше обманывать не может, а во-вторых, не собирается расстрачивать свой талант по мелочам. Второй случай, когда Слава счёл возможным применить своё умение в изготовлении документов, имел более серьёзную подоплёку.

По соседству с нами, в одном коридоре жила Галя, студентка старшего курса, в которую Слава влюбился без памяти. Галя была замужем, а муж её Алик в этот первый послевоенный год всё ещё не был демобилизован из армии. В первую очередь демобилизовывали тогда бывших студентов. Алик до войны студентом побывать не успел. Слава решил исправить это и соорудил безупречную справку о том, что якобы до войны Алик окончил первый курс политехнического института. Благодаря этой справке тот вскоре вернулся из армии. В день его возвращения Слава нашлся, горько сожалея, что собственными руками похоронил свою любовь. Он долго не мог уснуть и нам спать не давал, причитая: «Люблю её я, а спит с ней он...» К слову сказать, Алик до конца использовал Славину справку и благодаря ей оказался сразу на втором курсе политеха, а затем успешно закончил его с красным дипломом. Он сожалел, что Слава «подарил» ему всего лишь один курс, мог бы и больше.

Примечательной была выдача Славой нашему другу Роману аттестата, свидетельствовавшего об окончании им гимназии при Львовской Духовной Академии. Как заявил по этому поводу Слава, он «впервые и не без священного трепета вторгся в дела церкви».

А дело обстояло так. Роман во время оккупации учился в этой гимназии, а окончание её совпало с освобождением Львова Советской Армией летом 1944 года. Выпускники получили предварительные справки об окончании, а торжественное вручение аттестатов откладывалось из-за боёв за Львов, а потом так и не состоялось. Многие преподаватели и часть учащихся прямо из корпусов духовной академии были безотлагательно взяты в советскую армию, остальные отпу-

щены по домам. Аттестатов так никто и не получил. Ромка поступил в институт по справке и доучился до третьего курса, когда у него потребовали, наконец, подлинник аттестата. Выдать такой мог только Слава, духовной гимназии давно уже не существовало. Где Ромка нашёл бланк аттестата, так и осталось тайной. Впрочем, во Львове и сейчас невозможных вещей не существует. Печать Слава и изготовил в течение каких-то полчаса, скопировав её с подлинной справкой, взятой на время из деканата. Дальше последовало выставление оценок.

С самого начала Слава заявил, что он Советскую власть обманывать не собирается. Ромка действительно окончил эту «поповскую гимназию» и аттестат получит, а вот отметки он ему выставит такие, каких, по его убеждению, тот и заслуживает. «Основы Богословия» – Слава решительно своим красивым почерком тушью выводит – «пять». – Поставь «три», ведь этот предмет сейчас не в моде, – взмолился Ромка. – Ты три года поповскую колбасу ел, а сейчас она у тебя стала вдруг немодной! Пять и ни балом меньше. – Математику ты знаешь не больше, чем на тройку. – Пожалуй-ста, хоть «четыре». – Нет, не могу поступиться принципами, вот греческий и латынь – это другое дело, я и ставлю тебе заслуженные две «пятерки». Аттестат в деканате был принят без замечаний. Впрочем, Слава не без бахвальства заявил, что изготовленные им документы свободно принимали и в гестапо, а тут всего-навсего какой-то деканат. Как уже было сказано, умение блестяще подделывать документы было не единственным Славиным достоинством.

Наша комната в общежитии, во многом благодаря Славе, слыла весьма необычной. У Славы была постоянная потребность и великолепное умение что-то мастерить. Его поделки, во многом полезные, иногда носили совершенно экзотический характер. Так мы обогатились электрошёткой для чистки обуви, затем последовала электроточилка для бритв. В те годы свет горел порой в четверть накала. Слава, не смирившись с этим, соорудил панель с множеством низковольтных лампочек, которая в требуемых случаях сияла у нас в

полную мощь. В нашей комнате газ появлялся только тогда, когда этажом выше девушки прекращали варку, а варили они непрерывно. Слава придумал электронасос для высасывания из трубы газа, когда давление там было недостаточным. Эту последнюю славину придумку как-то все недооценили. Насос этот почему-то совершал высокие прыжки на месте, а шум, производимый им, привлёк нездоровое внимание коменданта общежития, так что эксплуатация насоса была вскоре прекращена. Все Славины изделия обладали чудным дизайном, но в повседневном быту он, напротив, был чрезвычайно безалаберным. В результате в комнате царил невероятный, совершенно роскошный кавардак. По Славинной теории получалось, что пыль – это «вполне достойные химические элементы, чуть сместившиеся в мировом пространстве», а если в комнате бедлам, то любую вещь куда проще найти.

Прежде чем перечислить все прочие Славины достоинства, следует немного подробнее рассказать о его прошлом.

Жизнь испытывала Славу Жака на прочность весьма основательно.

Родился он в середине двадцатых, теперь уже прошлого века, в Польше, в небольшом городе недалеко от Львова.

Отец его, удачливый торговец лесом с фамилией, не оставляющей никаких сомнений в национальной принадлежности её обладателя, Файфель, рано умер. Мать – образованная, приятной наружности женщина вышла повторно замуж за фармацевта, вдовца по фамилии Жак. Если уж быть точным, то настоящая фамилия у Славинного отчима была не Жак, а Зак. Он, еврей-выкрест, перед крещением чуть изменил фамилию, воспользовавшись тем обстоятельством, что в польском алфавите буква «Ж» отличается от буквы «З» лишь точкой над ней. Таким образом, ценой минимальных усилий Зак стал Жаком, а усыновлённый им Слава получил фамилию польского или уж в крайнем случае французского звучания. Кроме того, у Славы появился сводный брат-одногодок с этой же фамилией, у которого в документах вообще ничего еврейского не

прослеживалось.

С началом войны и оккупации городка немцами Слава решил, что, несмотря на его новую фамилию, было бы благоразумнее исчезнуть и растворится где-то в городе побольше. Ему было семнадцать, когда он появился во Львове с документами своего сводного брата Гадеуша. Романтик по натуре, он вскоре стал членом одной из ячеек польского сопротивления. Основным заданием группы, в которой оказался Слава, было добывание денег и документов для подполья. Здесь он усвоил множество полезных навыков, в частности, кроме стрельбы из пистолета, научился блестяще подделывать документы. Хотя он и говорил, что «скромность не входит в длинный список его добродетелей», о своём участии в действиях подпольщиков рассказывал весьма сдержанно.

Чаще всего ему доставалась роль связного, но однажды он вместе со своей группой участвовал в поджоге обувной фабрики. Эта акция из-за её дерзости и блестящего исполнения до сих пор памятна теперь уже немногочисленным коренным львовянам. Носила она, правда, несколько опереточный характер. Львовская обувная фабрика в то время шила для офицеров вермахта и СС великолепные сапоги из мягкого хрома с высоким задником. Львовяне охотно ими обзаводились сами, почему-то присвоив им звучное наименование «англики», что переводится как «англичане».

Подпольщики, переодетые полицейскими, на нескольких грузовиках подъехали белым днём к фабрике, нейтрализовали охрану, погрузили готовую продукцию на машины, прихватили наличность в кассе, и подожгли фабрику с четырёх углов. Под шумок, пока пожар тушили, добыча была доставлена на знаменитый во Львове Краковский базар и реализована прямо с грузовиков по бросовым ценам. Спустя несколько дней власти, слыхавшись, начали реквизицию «англиков» у населения на улицах города. Некоторые львовяне помнят тогдашнюю озорную частушку по этому поводу, а как-то её напомнило и Варшавское радио. В весьма приблизительном, с исключением неформальной лексики, переводе с польского она звучит так:

У пани Зося есть «англики»  
с той сожжённой шух-фабрики.  
На базаре уверяют,  
что их силой отнимают.  
Не горюет пани Зося  
и «англики» с форсом носит.

В этом действе, рассчитанном скорее на психологический эффект, участвовал и Слава. Как он скромно заявляет, он лишь стоял на «шухере» за три квартала не то от фабрики, не то от базара. Гестаповцам он за всё время пребывания в отряде попался дважды, а убежать сумел только один раз, в результате чего и прибыл в Освенцим.

Номер, вытатуированный на левом предплечьи, остался неопровержимым доказательством на всю жизнь. Слава, благодаря документам сводного брата, угодил в барак для заключённых поляков. Судьба явно его оберегала: не нашлось рядом предателя-антисемита. Среди товарищей по несчастью преобладали интеллектуалы, были и преподаватели вузов со всей Польши.

По ночам, когда стихал лай овчарок и ругань надсмотрщиков, на парах полушепотом читались лекции по самым различным отраслям знаний: от истории античного мира до технических деталей заводского изготовления консервов. О содержимом консервных банок при этом, по понятным причинам, лектор умалчивал. В один из дней Славу с группой узников отправили вглубь Германии. Там он побывал ещё в двух концентрационных лагерях, где их использовали как рабочую силу на заводах. К его освенцимскому «гуманитарному» образованию добавилось умение работать на токарных и фрезерных станках, знание основ литья в металле, элементов электротехники. Мучил голод, издевались охранники, но газовых камер здесь не было. В последние месяцы войны, когда территория Рейха сокращалась не по дням, а по часам, рабов из лагерей на западе фашисты перемещали в центр страны. Слава оказался в Бухенвальде. Лагерная эпопея дополнилась работой в каменном карьере. По вечерам на «апельплаце» играл великолепный оркестр, состоявший в основном из оркестрантов Будапештской оперы, больше похожих на скелеты, но наряженных в роскошную

униформу с аксельбантами. С востока уже гремели советские орудия, с запада всё явственнее доносился лязг гусениц танков генерала Патона. Эсесовцев в охране заменили старички из фольксштурма, которые не очень сопротивлялись, когда узники стали их разоружать. Ощущение обретенной свободы было непередаваемым. «С только ведь ещё в мире недостроенных мостов и нецелованных губ!»

Для Славы начался извилистый путь домой, завершившийся в фильтрационном советском лагере сразу за Бугом. Режим в этом, пятом уже для него по счёту, лагере был сравнительно сносным: лишь один раз следователь съездил ему по физиономии, всё допытываюсь, как это он, еврей, умудрился выжить. Спустя три недели его отпустили.

Если вычеркнуть из Славиной жизни три года немецких лагерей, то довольно трудно понять, откуда у Славы всё то, что он ко времени нашего знакомства, а ему было тогда 21 год, умел и знал. Впрочем, как ни парадоксально, время, проведённое им в лагерях, как уж решительно вычёркивать не приходится. Рядом на нарах часто оказывался цвет интеллектуальной элиты со всей Европы. Существует непреложный закон: чем больше ничтожеств у руля государства, тем изысканнее общество на нарах. Слава довольно основательно знал французский и немецкий. Как он шутил, знание этого последнего ему представилась возможность закрепить на практике. Не очень понятно, где и когда он выучил русский, которым свободно владел и которому особый шарм придавал заметный польский акцент. Тайной осталось также, откуда Славино знакомство с классической музыкой. В городке, где он жил до войны, филармонии не числилось, а в Освенциме музграмоту, как известно, не преподавали. Умел он играть на рояле. Наигрывал даже иногда гимн, придавая ему ритм похоронного марша, и наоборот, придавал похоронным маршам джазовые ритмы. Он увлекался боксом, фехтованием, катался на лыжах, прекрасно стрелял из малокалиберной винтовки. Владельцы тира, располагавшегося рядом с общежитием, перестали предоставлять ему возможность пострелять на приз, пос-

ле того как он три дня подряд выигрывал по бутылке шампанского.

По лагерной привычке вставал он обычно очень рано и будил нас попеременно то позаимствованным у Руссо: «Вставайте, графья, вас ждут великие дела!», то позаимствованным у лагерной охраны: «Los, Hunde verfluchte!». Всё зависело от настроения. Славина речь изобиловала парадоксами. Так, в один прекрасный день он обрадовал нас следующей тирадой: «Мальчики, дайте честное слово, что о том, что вы сейчас услышите, никому не расскажете, потому что я только что дал честное слово, что я никому об этом не расскажу».

Слава пользовался исключительным успехом у прекрасного пола. Он никогда не бросал своих воздыхательниц, нанизывая одно приключение на другое, и к концу учёбы был окружён целым сонмом почитательниц, которые зачастую дожидались его в общежитии до полуночи и провожать которых, если Слава долго не появлялся, по безлюдным небезопасным улицам приходилось по очереди остальным обитателям комнаты. По этому поводу он говорил, что легче всего развязать войну и завязать роман и труднее всего закончить то и другое. Его в основном привлекали умные женщины. Он, правда, сетовал, что в общении с ними возникают всегда некоторые сложности: неизвестно, когда следует прекратить разговор о философских воззрениях Спенсера и перейти к «посягательствам на талино». Своими победами на этом поприще не хвастал. Только однажды, вернувшись под утро с синевою под глазами, задумчиво произнёс: «Никогда не думал, что человечество накопило столь богатый опыт в этом деле». И ещё: однажды, возвратившись после летней практики, он сообщил, что добавил небольшую завигушку к пышным рогам одного из районных начальников. И вообще, если он и «Дон, то скорее не Жуан, а Кихот». Ещё на первом курсе он твердо решил, что станет хирургом. Учился он весьма прилежно. Кроме учебника прочитывал массу дополнительной литературы. Иногда на экзамене они вместе с преподавателем запутывались в дебрях выдвигаемых Славой теории, и преподаватель на всякий случай ставил ему «три». На тре-

тем курсе Слава, увлекшись онкологией, привёз после каникул клетку с белыми мышами и поместил их поначалу у себя под кроватью в общежитии. К разнообразному набору запахов в комнате появилось существенное дополнение. Из скудной своей стипендии он выделял средства «мышкам на молочишко». Господь вскоре смилостивился над остальными жителями комнаты, и Славе предоставили для его мышей каморку на кафедре хирургии. Там он прививал им мышиную саркому, а затем лечил, правда, безуспешно, при помощи миниатюрного аппарата для электрофореза, который сам изобрёл. Расставаясь после окончания института, мы пообещали не терять друг друга из вида: писать хоть изредка и сообщать обязательно о переменах адреса, женитьбах, разводах и прочих сходных катаклизмах, а также о рождении детей и внуков. Вот уже свыше пятидесяти лет это обещание выполняется. Первое Славино письмо, сообщавшее о перемене места обитания, не заставило себя ждать. Слава был изначально направлен на работу в свой родной город на Львовщине, а тут вдруг, спустя полгода, обратный адрес оповещал, что письмо пришло из Широкопадского леспромхоза Иркутской области. Первая фраза этого письма запомнилась дословно: « В связи с тем, что у меня была длительная командировка на запад, мне в виде компенсации предоставили командировку на восток», - писал Слава. Дальше в письме сообщалось о Славиных выдающихся успехах на ниве лесоповала. Речь шла о так называемом «спецпереселении».

Помнится, всё, что имело в прошлой нашей жизни приставку «спец» всегда носило, да и сейчас носит какой-то гнусный привкус. Это или несправедливые блага для избранных, или неза заслуженные наказания для остальных. Слава, как и все переселенцы, должен был еженедельно являться в спецкомендатуру, не имел права куда-либо выехать. Спустя приблизительно 3 месяца Слава заявил в комендатуре, что он уже вполне овладел профессией лесоруба и был бы не прочь вернуться к профессии хирурга. Ему это разрешили. В 60-е годы он был официально реабилитирован. Он создал великолепный онкологический диспансер и стал его

главным врачом. Женился, родил двойню. Душой сроднился с Сибирью. Ему нравилось даже то, что здесь еда носит гордое название «закуска». Как-то в вагоне поезда я разговорился с попутчиком-дальневосточником.

Узнав, что я по профессии хирург, тот спросил меня, не знаю ли я такого знаменитого хирурга – Жака, мол к нему едут в Иркутскую область лечиться и с юга Сибири и с Дальнего востока и даже с Сахалина. Мне было приятно погреться в лучах славы моего старого друга.

Несколько лет тому Славе было присвоено звание почётного гражданина города Усолье-Сибирское, но об этом я уже узнал из письма с ещё одним новым обратным адресом. Название города звучало явно не по-сибирски: Бней-Брак. Между прочим, Славе в Израиле нравится. Живёт он в районе, населённом ортодоксальными евреями, пейсы у него пока ещё, правда, не отрасли. С ивритом у него дела не блестящи. Он шутит, что лучше всего изучению языка, по его опыту, способствует пребывание в соответствующем концлагере. Слава сообщил мне, что ему уже тяжело «бегать за дамами и приходится за ними только волочиться». Одно время он собирался вернуться: очень скучал за Сибирью. Сейчас решил остаться. И вообще, как он заявляет, бросать страну в грудное для неё время неэтично. Он даже готов предложить свои услуги в качестве хирурга, если в этом возникнет надобность. Полон сил и энергии. На днях я поздравил его с 78 днём рождения.

# Ульяна Шереметьева

Стихи для детей

*Посвящается сыну моему Алёше*

• • •

Дарит море нам ракушки,  
Их рассыпано немало.  
«То русалочки игрушки», –  
Говорит серьёзно мама.

## МУРАВЕЙ

По извилистой тропинке,  
Груз взвалив себе на спинку,  
Муравей спешит домой.

Он нигде не отдыхает  
И под грузом не вздыхает,  
Хоть и маленький такой!

Мой рюкзак потяжелее,  
Всё же бодро мимо елей  
Я шагаю на пикник.

Но устали вскоре плечи.  
Ох, тяжёлый этот кетчуп ...  
Я к концу дороги спик.

Неужели он сильнее –  
Этот кроха-муравей?!

• • •

Тяжёлый, мохнатый,  
как тигр, полосатый,  
На каждый цветок  
опускается шмель –  
Ведь в полдень лучистый  
шиповник душистый  
Для шмеля припас  
специальный коктейль.

• • •

Над клумбой пролетела  
Стрелюю стрекоза –  
Тонюсенькое тело,  
Огромные глаза.

Остался шелест крыльев  
Прозрачной бирюзы  
И промельк яркий, сильный  
От стрелки-стрекозы.

\* \* \*

У плеча пчела кружит,  
Подозрительно жужжит,  
Ей покоя не даёт,  
Что я "сладкий, словно мёд".  
Это мама так сказала –  
Вот пчела и услышала.

• • •

Шла ворона по бревну –  
Криво-косо, ну и ну –  
Акробатка-пешеход...  
Эй, ворона, мой черёд!  
Оглянись, я покажу,  
Как я здорово хожу.  
На бревно вскочил я ловко,  
Но ворона, вот плутовка,  
О бревно почистив клюв,  
На меня и не взглянув,  
Улетела далеко,  
Каркнув где-то высоко.

• • •

Кабы все умели крабы  
Бегать прямо, а не вбок,  
Вот они бы были рады!  
Может, нужен им урок?

Показал я по порядку  
Им движенья, да не впрок –  
Ушишнув меня за пятку,  
Убегали крабы вбок.

# ГЕНРИХ ШМЕРКИН

Из иронической поэзии

## ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО

Вся стена в фотокарточках –  
Рож моих веера.

Вот я в роше на корточках  
С шашлыком у костра.

Вот катаюсь по кругу  
На замёрзшем катке.  
Вот на Невском с подругой,  
С её сумкой в руке.

Вот в шубёнке цыгейковой  
С карамелькой «Дюшес»,  
Все зовут меня Генькою,  
Скоро стукнет мне шесть.

Вот в оборванных ботиках,  
В пиджаке до колен.  
Вот курю на субботнике  
В окруженьи коллег.

Вот с указкой у глобуса.  
Вот с резцом у станка.  
Вот у кассы автобусной  
С пирожком – на века.

Вот с кларнетом на лыжах,  
Вот с фаготом на ГРЭС...  
Это – тени застывшие,  
Это – прошлого срез.

И висит рядом с ними,  
Обжигая огнём,  
Самый главный мой снимок.  
Я в грядущем на нём:

Не слоняюсь по Невскому,  
Не свистаю в свирель –  
Я там лет через несколько  
После смерти своей,

Тленной плоти осколок,  
Незавидный до слёз...  
Это мне рентгенолог  
Мой портрет преподнёс.

Ни гримас, ни ужимок  
(Фотофарс, фотобред!),  
Мой рентгеновский снимок –  
Перспективный портрет!

Чаша черепа утлая,  
Ни бровей, ни ресниц,  
Только косточки мутные  
И дырищи глазниц.

Страхотища безмерная...  
И в таком неглиже  
Я гляжу из бессмертия,  
но при жизни уже!

• \* \*

*М. Ф.*

Ты моё заклятье и беда,  
Вечная сердечная хвороба;  
От тебя уйду я навсегда,  
Хлопнув на прощанье крышкой гроба!..

# МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

## В ТРИ ЧАСА ПОПОЛУДНИ

Владимир Сергеевич Дугаев не любил большие зеркала, брился перед карманным зеркальцем, а галстук и вовсе вывязывал на ощупь. В своем доме всегда садился спиной к стоящему в гостиной зеркалу в толстой бронзовой раме. На работу он ходил по одним и тем же улицам, и когда на них появлялись здания, запроектированные его институтом, чувствовал себя счастливым. Для него эти сооружения казались одушевленными, и каждому из них тайно давал имена. Проекты крупных комплексов вообще считал этапами своей жизни. Дугаев уже давно не замечал, где кончается работа, а где начинается личная жизнь. Только она, работа, была смыслом его существования. Засиживаясь на службе допоздна, он неохотно возвращался домой, где только фотографии детей, развешанные по стенам, встречали его радостными улыбками.

Жена влюбилась в друга, забрала сыновей и переехала в другой город. Самолюбивый и гордый человек, он тяжело переживал измену и особенно разлуку с детьми, но усилием воли отгонял воспоминания и с головой уходил в работу. Его труд не раз отмечало государство, но и обид было вдоволь. Особенно одна, когда его вызвал партийный чиновник и, не поднимая головы от бумаг и не предлагая сесть, сказал: "Мы здесь посоветовались и решили не рекомендовать тебя на работу за рубеж". Ладони Дугаева стали влажными, и он тихо, почти шепотом, спросил: "Почему?"

Чиновник поднял глаза, оцупал его взглядом, словно ставил оценочный штамп, и, глядя куда-то в пространство, пробубнил:

"Ну... куда тебе?! Сам должен понимать, там нас не поймут". Он еще раз посмотрел на него, проверяя своё решение, и уже отчетливо произнес "Все! Ты свободен, — ноги Дугаева стали тяжёлыми, — ты свободен!" — уже твёрдо повторил чиновник и добавил: "Надеюсь, это не помешает

тебе дальше работать!" В его голосе слышалась угроза. Владимир Сергеевич ни с кем не обсуждал эту тему и старался об этом не думать. Только изредка в гостях или сидя с друзьями за бутылкой вина, вдруг начинал "прокручивать" в памяти события того дня. Тогда он становился раздражительным, дерзким и злым. Обычно это продолжалось недолго. Дугаев был человеком отходчивым. Обладая чувством юмора и острым умом, в компаниях всегда становился центром внимания. Годы мчались, жизнь перевалила за половину, но он этого не чувствовал. Часто собирал застолья, придумывал сюрпризы и розыгрыши. В этом его темпераментная натура не знала удержу. Любил женщин, умел красиво ухаживать, и они не обделяли его своим вниманием. Их привлекала его напористость, эрудиция, широта души и, чего греха таить, положение в обществе. Романы возникали внезапно, были недолговечны и также неожиданно заканчивались. Друзья с пониманием относились к его образу жизни, а недруги перемывали косточки и считали женщин, которым он оказывал внимание.

Однажды Дугаев пригласил к себе самых близких друзей, и когда все собрались, распахнул дверь в соседнюю комнату. На пороге, улыбаясь, стояла миловидная, стройная женщина с весёлыми глазами. Ожерелье из полудрагоценных камней цвета её глаз подчеркивали элегантный наряд незнакомки. Она улыбнулась, и нам показалось, что мы знакомы с ней тысячу лет. "Моя жена", — объявил он. От неожиданности мы раскрыли рты, а потом стали аплодировать. Пра была моложе мужа на двадцать пять лет. Его жизнь изменилась. Но силы, энергию, мысли по-прежнему поглощала работа.

\* \* \*

Дугаев возвращался с работы. Проходя через площадь, остановился у фонтана. В середине чаши упругие струи воды, смыкаясь, устремлялись ввысь. Обрамлённые короной из пены, тщетно пытаясь достать многоцветное коромысло радуги, они на мгновение замирали в небе, словно не хотели возвращаться на жаркую землю. Затем дробясь с грохотом падали вниз, образуя прохладный туман, оседавший росой на цветах и листьях. Владимир Сергеевич огляделся. Улицы зелеными реками вливались в площадь, а

потоки машин на кольце образовали яркую карусель. Тюльпаны разных расцветок причудливым орнаментом окаймляли дорожки и огибали скамьи из армянского мрамора. Он присел на скамью, с наслаждением вдохнул влажный воздух и откинулся на спинку: "Радуга!.. Какая благодать, – подумал он, – какую благодать мы здесь učinили", – уже вслух произнес он. На душе стало радостно. Это его институт запроектировал самую большую площадь города, и он этим гордился. Вечерело... "Пора... Завтра оперативка, будет трудный день", – подумал он и вдруг вспомнил: "Чёрт возьми! Сегодня же тридцать лет, как я приехал в этот город".

Память услужливо вернула его в прошлое.

\* \* \*

По разрушенному землетрясением городу гулял горячий ветер, наметая поперёк бывших улиц маленькие барханы из строительного мусора, обрывков рубероида и бумаги. Веретёна вихрей закручивали и поднимали их вверх, доли они носили над городом, словно подыскивали новое место, а затем швыряли на землю. Казалось, открылось чрево огромной доменной печи и сейчас наружу выплеснется жидкий чугун. Редкие автомобили вязли в расплавленном асфальте, их контуры дрожали в мареве и казались лодками, плывущими в преисподнюю. На месте фонтана тогда стояли времянки. В одной из них жили молодые специалисты и он, Дугаев. Заново проектируя город, они работали за чертёжными досками в старом бараке и боролись с жарой при помощи зелёного чая, одного вентилятора и энтузиазма. А ночью, заворачиваясь в мокрые простыни, спали на крыше.

Время шло. Через десять лет Дугаева назначили директором института. С тех пор прошло ещё двадцать лет

\* \* \*

Звонок "вертушки" встретил его на пороге кабинета. "Подождёшь!" подумал Дугаев, уселся за стол и стал перебирать бумаги. Телефон упорно звонил. "С утра пораньше, мать вашу", вслух сказал он и поднял трубку. Его вызывало начальство.

"Оперативка накрылась!" – зло подумал директор, от-

крывая дверь в приёмную. Два молодых специалиста что-то шептались на ухо симпатичной секретарше: "Что вы здесь болтаетесь, как говно в проруби? У вас работы нет? Из какого отдела"? Ребята пытались что-то объяснить, пятак в коридор.

"Совещания отменяется", – бросил он секретарше и пошёл к машине. По дороге Дугаев попытался понять причину срочного вызова, но ничего не приходило в голову. В приёмной его встретил референт и с вежливым высокомерием указал на начальственную дверь, обитую тёмной кожей. Дугаев понял, что за ней решается его судьба. Он чуть помедлил и, глядя в глаза референта, то ли ему, то ли себе сказал: "Не посмеют", – и открыл дверь огромного кабинета.

В его глубине за необъятным столом сидел грузный широкоскулый человек в светлом костюме. На лысой дынеобразной голове ладно сидела тибетейка. Маленькие ушки казались от другого человека и по ошибке попали на его череп. В руке он держал пилату с чаем.

За маленьким столиком, на котором лежал большой букет цветов, сидели два его заместителя и молодой человек:

"А-а-а! Здравствуй, здравствуй всеми уважаемый товарищ Дугаев", – приветливо сказал человек в тибетейке. "Очень рады тебя видеть. Садись, попей чаю. А у нас для тебя приятная новость. Правильно"? – он посмотрел на своих заместителей, и те согласно кивнули. – Мы решили отпустить тебя на пенсию. Ты это заслужил, клянусь. Так работать, слушай, так работать"! – Он покачал головой, сложил три пальца шепотью, поцеловал их и выдохнул воздух:

"Нах...! Мы должны беречь ветеранов, это наше богатство, и будем беречь". Дугаев побледнел. Кровь медленно отливала от лица. Стало трудно дышать. Казалось, сердце то бьётся о грудную клетку, то поднимается к горлу, то замирает и проваливается куда – то к животу, на лбу выступила испарина. Он хотел что-то сказать, но его перебили:

"Мы и директора подобрали, между прочим, национальные кадры двигаем, – он посмотрел на своих заместителей, и те снова кивнули. – Думаю, наш Сапарчик тебе понравится", – он влюблённо посмотрел на будущего ди-

ректора, плотоядно улыбнулся облилиз губы и заёрзал в кресле.

“Мне как-то больше женщины нравятся”, с ненавистью подумал Дугаев. “Когда будешь славать дела”?

“Завтра”, – прохрипел Дугаев и пошёл к двери. Потом вдруг вернулся, схватил букет, выбежал из здания и упал на сидение машины. Костя, его шофер, испуганно заморгал белесыми ресницами.

“Куда едем”? Дугаев молчал. Лицо его было сосредоточенным. Он что-то бормотал, прижимая цветы к груди. Колючки, впиваясь в руки, ранили кожу. Кровь, капая на пиджак, оставляла тёмные пятна. Он этого не замечал и не чувствовал боли.

“Домой”!

“Ну как же домой”? – не унимался Костя.

“Домой”! – уже крикнул он и посмотрел на часы. В голове мелькнула мысль:

“Ирка вернётся с работы в три”. Выскочив из машины, он заспешил к дому. Прохожие оглядывались на странного человека с подозрительными пятнами на пиджаке и с цветами в руках. Он шагал всё быстрее и быстрее. Глаза его были неподвижны, устремлены вдаль. Маленькие молоточки где – то внутри него в такт шагам чётко отбивали вопросы: “Как жить? Чем жить? Как жить? Чем жить?”, на которые сейчас, спко минуту он должен найти ответ:

У своего дома, пытаясь достать из кармана ключи, с удивлением обнаружил в руках цветы. Секунду помедлив, с отвращением отбросил их прочь и открыл дверь. Большие часы в футляре из красного дерева отбили два часа. Он бродил по квартире, заглядывал в кладовку, стенные шкафы, кухонные ящики, словно что-то искал. Куда бы он ни заглядывал, всюду высвечивались два слова: “...на пенсию... на пенсию... на пенсию”.

Дугаев вертел головой, пытаясь избавиться от этих проклятых слов, но они продолжали появляться и появляться. Ему стало жарко. Скинул пиджак, сорочку, брюки и открыл балконную дверь: “Нашёл”, прошептали его губы.

Габурет, на котором стоял Дугаев, скользил по полированной столешнице, отъезжая из-под крюка, на котором висела люстра. Балансируя на зыбком постаменте, он накинуд верёвку с петлёй на крюк. Но оступился, рухнул на стол и скатился вниз. От боли стало трудно дышать. Он пытался повернуться на спину, но не смог и скрючившись, лежал на полу. С трудом поднялся и посмотрел вверх. Петля медленно раскачивалась. Казалось, она злорадно ухмыляется и зовёт к себе. Дугаеву стало страшно. Он отвернулся. Его взгляд скользнул по толстой бронзовой раме и упёрся в большое зеркало... На него смотрел бледный маленький человечек без шеи, с уродливым телом, непомерно длинными руками и тонкими ножками. Рабочая майка обнажила два горба — на спине и груди. Потные волосы падали на лоб. Минуту он рассматривал себя, а потом заплакал. Дугаев еще раз посмотрел в зеркало, и ему показалось, что за своим отражением он видит силуэт матери, которая умерла, когда ему было десять лет.

“Мама! — закричал он, — мама, посмотри на меня! Как мне жить, мама? Зачем? У меня отняли даже работу! Я хочу к тебе, мама! К тебе!” Мама молчала.

В эти мгновения он вспомнил все унижения, которые довелось испытать: и дразнилки в школе, насмешки сокурсников, и оскорбительные реплики за спиной на работе. Он всегда жил в постоянном напряжении, делая мучительные попытки быть как все и жить как все. Слезы не принесли облегчения. Воспоминания жгли душу, а сердце затравленным зверьком прыгало в груди, изуродованной при рождении. Он схватил маленькую скамеечку, поставил её на массивный стул и втащил это сооружение на стол. Руки дрожали. С трудом продев голову в петлю, схватился за верёвку руками, подтянулся и ударил ногами по спинке стула. На миг перед глазами возникло Иркино лицо, оно навалилось всё ближе и ближе. Наконец остались одни глаза, но он не смел в них заглянуть. “Что с ней будет?” — мелькнула мысль, и он разжал пальцы...

Грохот падающего стула слился с ударами часов. Они пробили три раза, но он этого не слышал.

# ВЛАДИМИР ЯГМАН

*Уважаемые читатели!*

*Редакция альманаха получила от живущего в Берлине В.Ягмана мемуарное повествование "Мои пути-дороги". Автору за восемьдесят. В предисловии он написал: "Сверстникам будет любопытно сравнить мои пути-дороги с теми, которые они сами прошли. А молодым, надеюсь, покажется интересным узнать от очевидца, что пережил и как выжил он в этом сложном веке"*

*Бесхитростность и искренность рассказа о пережитом вызывают полное доверие к нему. Обаяние спокойного изложения даже самых напряжённых эпизодов, точность деталей, незлобивость и самоирония вызывают ощущение, что читаешь маленький "народный роман". Предлагаем вашему вниманию небольшие фрагменты из глав этих мемуаров*

## МОИ ПУТИ-ДОРОГИ

*Почему мы стали крестьянами*

В стране начиналась коллективизация. Не обошли, конечно, этой "благодатью" и наш район. Предложили вступить в колхоз и нашей семье, но мама отказалась. Тогда нас зачислили в кулаки. Так нам стало известно, что наша семья – кулацкая. Узнали об этом в 1928 году, когда мне было 7 лет. У нас отобрали всё: дом, сад, огород, построенные нами 50 парников. Вынанные из дома на улицу, мы стали нищими. И никто не мог нам помочь. Мама и родственники ходили в исполком, сельсовет, но там лишь отвечали, что есть приказ об организации колхозов. Все, кто жили на территории создаваемых колхозов, должны были стать их членами и передать всё своё хозяйство в колхозную собственность, иначе их раскулачивали. Так поступили и с нами. Председатель колхоза в разговоре с мамой объяснил, что наша семья должна уехать, так как

теми, кто сопротивляется вступлению в колхоз, занимается НКВД: подгоняют машины, грузят насильно людей, везут на вокзал и в товарных вагонах отправляют в Сибирь.

Сколько горя и слёз принесло это раскулачивание. Все мои старшие братья и сёстры (в семье было десятеро детей) убежали из Порхова в разные города, где жили родственники. Мы же, маленькие (мне было 7 лет, сестре Зисле 9, Лёве 11), с мамой остались в Порхове, скитались, не имея своего дома, по разным русским семьям ...

### *Я начинал приобщаться к религии*

Сняли 15-метровую комнатушку в Боровичах на ул. Льва Толстого у хозяйки дома по фамилии Бухбиндер. У неё была ещё 40-метровая комната, в которой по субботам и праздникам собирались евреи на молебен. Но иногда у них для миньяна (кворума) не хватало десятого еврея. Тогда мама звала меня с улицы, и я был за недостающего. Было мне тогда 13 лет.

Когда наступало время Пасхи, мацу негде было купить, поэтому у нашей же хозяйки собирались еврейские женщины и изготавливали в её доме для своих семей мацу. Женщины раскатывали тесто, а я стоял у русской печки, бросал в топку ольховые дрова, накалял под, сгребал в сторонку угли, золу. Для того, чтобы не образовывались пузыри, я колёсиком накалывал раскатанные для мацы лепёшки, потом укладывал их на чистую длинную палку и сажал на под в печку. Когда маца была уже готова, я вытаскивал её и складывал хозяйкам в корзину на чистую салфетку. Это я делал не потому, что был верующим, а ради мамы, которую очень любил. Она была верующая, соблюдала все еврейские обычаи. Мне всегда хотелось сделать для неё что-то приятное, как-то скрасить её трудную жизнь.

### *Плохое настроение у лошади*

Однажды, после окончания ФЗУ, мы шли с ребятами по улице. Видим, стоит колхозная лошадь. Стоит, понуриив голову, глаза слезятся. Я возьми и неловко эдак, с потугой на остроумие, брякни:

– Ребята, гляньте на лошадь. У неё несчастный вид, как у нашего народа. Она выражает его настроение.

Через два дня меня забрали в милицию. В милиции мне учинили допрос, добиваясь признания, говорил ли я так. Я, конечно, всё отрицал. Но следователь утверждал, что, как ему донесли, я именно так и сказал. Я продолжал отрицать и попросил сделать очную ставку.

На третий день моего задержания вызвали всех ребят, с которыми я тогда был. И все ответили, что я такого не говорил. После этого меня выпустили под расписку о невыезде. Потом я узнал, что проболтался Вовка Туренской. Он рассказал об этом дома своей тётке, а та – соседке, работавшей в милиции. Вот соседка-то и донесла.

Узнав про донос, я собрал ребят и рассказал им об этом. Мы решили, что тётка должна поговорить с соседкой и попросить её, чтобы та забрала свой донос назад. К счастью, она не стала упираться и так и сделала. Начальник милиции Гоглидзе (по всем первым отделам, отделениям милиции и НКВД сидело тогда много грузин) вызвал меня и сказал:

– Я знаю тебя как хорошего спортсмена и хорошего часовщика, поэтому на первый раз прощаю и отпускаю тебя. Но смотри: ещё раз повторится что-либо подобное – сгною в тюрьме.

Меня больше не трогали, дело моё закрыли.

Может быть, Всевышний оказался ко мне столь милостив, и беда прошла лишь рядом ...

МАРЛЕН ГЛИНКИН

ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

САМСОН МАДИЕВСКИЙ

СЕМЁН ПАНЧЕШНИКОВ

АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

ДАВИД ШИМАНОВСКИЙ

МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

# МАРЛЕН ГЛИНКИН

## ТАЙНА МАРНИ (Литературная догадка)

Она была достойна кисти художника и вдохновения поэта. Приходится лишь сожалеть, что имя этой удивительной женщины упоминается только в нескольких письмах. Ее потомки ничего не могут нам рассказать о ней. Следы ее стерлись в памяти. Судя по одному воспоминанию, «она являлась мимолетным видением» в полуденном крае двадцатилетнему Пушкину и вдохновила его...

Вот свидетельство известного композитора и музыкального критика Александра Николаевича Серова (1820—1871):

«Существовала в Крыму одна греческая семья, в которую входили пять красавиц-дочерей, здоровых, с правильными чертами лица, с южными обворожительными глазами, все они служили украшением этого края. Когда император Николай Павлович приехал в Крым, то обыватели поспешили ему выставить пятерку сестер на показ. Он залюбовался, выразил свое благосклонное внимание тем, что даже заговорил с ними. Одна из них, именно Мария Павловна, которая связала свою судьбу с моей, была та самая красавица, которую Пушкин воспел в «Бахчисарайском фонтане». Ей я обязан многим».

Речь идет о Марии Павловне Мавромихали (в замужестве Анастасьевой). Но прежде чем вернуться к далекой встрече молодого Александра Пушкина с юной Марией Мавромихали, снова обратимся к письмам А.Н.Серова, приехавшего в 1845 году из Петербурга в Симферополь, для вступления в должность товарища Таврической уголовной палаты. Это письма к его другу и, в прошлом, однокашнику по Петербургскому училищу правоведения, вдохновителю объединения «Могучая кучка» – В.В.Стасову:

«И теперь я пишу тебе гордый своим счастьем. Я нашел здесь то, что мне давно было необходимо — беседу с женщиной, стоящей всей моей искренности, женщиной, гораздо старше меня, но вполне понимающей, красивой и пламенной».

22 апреля 1846 года он сообщает сестре Софье:

«...если я был неглуп, то теперь в мильон раз умнее, если душа моя была восторженна и сердце тепло, то теперь опять в мильон раз и душа восторженнее, и сердце горячее. Ты легко понимаешь кому и чему я обязан такими переменами; легко представить себе, чем для меня должна быть женщина, которой дружба для меня незабвенна в целую жизнь»... Дед ее, Марии Павловны, Стефан-бей Мавромихали был главой греческого племени маниотов, считавшихся потомками спартанцев. С начала русско-турецкой войны Стефан-бей выставил отряд в несколько тысяч человек в помощь русскому десанту и затем участвовал в военных действиях против турок, а по окончании войны его отряд стал эскадрой, воевавшей под русским флагом. Сам он принял русское подданство и до конца жизни (он умер в чине полковника в 1801 году) командовал Греческим полком, несшим пограничную службу от Севастополя до Феодосии. Сын его, Павел Мавромихали, был морским офицером русского флота, кавалером многих орденов и медалей, впоследствии — надворным советником.

Жена его, Ксения, польского происхождения, была матерью шести дочерей, старшая из которых, Мария родилась 7 февраля 1804 года. Возникает вопрос, могли 26-летний Серов влюбиться в 45-летнюю даму? Возможно, Мария Павловна находилась еще в расцвете женского обаяния? Или его привлекал в ней ее духовный мир и интеллект? Ведь она владела несколькими языками, любила и понимала искусство, тонко чувствовала музыку. Вот строки из письма Серова к сестре 8 мая 1847 года:

«Это удивительно, что и на нее чуть ли не из всего лучшего Бетховенского, — всего сильнее действует пасторальная симфония (и именно, как и на тебя, буря и финал)».

И несколько раньше: «Мария Павловна страстно любит театр, — как само собой разумеется, — и сама несколько раз была на сцене и в драмах, и в водевилях».

Странно, почему во многих последующих публикациях писем Серова к сестре Софье делается акцент только на деловую сторону и на разбор произведений Вагнера. И ни разу не упоминается имя любимой женщины, большого друга Серова, каковой была для него Мария Павловна?

Дело в том, что вокруг дружбы Марии Павловны и Александра Николаевича распространились слухи и пересуды, насмешки и анонимки, даже угрозы. И никому не было дела до их подлинных взаимоотношений.

А каково было ей? Ведь у нее было трое детей: дочь

Софья, почти на выданье и два сына-подростка Виктор и Александр. К тому же, с мужем своим, генералом К. И. Анастасьевым, еще задолго до знакомства с Серовым, она не могла развестись, хотя «давно уже они не жили вместе».

Что между ними произошло неизвестно. Генерал вроде бы был человеком серьезным, владельцем крупного имения да и должность занимал не малую — возглавлял на Юге России управление Путей сообщений и публичные здания.

Дед его, Панайот Анастасис, как и С. Мавромихали, служил на флоте под российским флагом в высоком офицерском чине. Сам же Анастасьев по службе характеризовался так: «Владеет языками российским, французским, греческим в совершенстве. Отчеты по должности в течение службы представлял в срок, жалобам не подвергался. Слабым в исполнении обязанностей службы не замечен и несправностей между подчиненными не допускал. В неприменном поведении оглашаем и изобличен не был».

Почему же жена, забрав с собой детей, уходит от столь почтенного человека? О том, что она забрала детей, свидетельствуют архивные документы. Возникает вопрос: а стоит ли ворошить прошлое? Думается, что стоит, ибо эта дама связана с именами дорогих нашим сердцам людей.

Хотелось бы узнать получше ту, по свидетельству

Серова, пушкинскую Марию, вернее, некогда существовавший ее прототип. Интересен тот факт, что своего сына, родившегося в 1838 году, она назвала Александром, явно в память о Пушкине.

Что касается ее разрыва с Серовым, то она никогда и не помышляла выйти за него замуж, прекрасно осознавая возрастную разницу. К тому же она формально находилась в браке с Анастасьевым, которого, судя по уходу от него, не любила.

Серов же продолжал поддерживать с ней дружеские отношения. Так, он помог ее сыну, Виктору, в поступлении в Петербургское правовое училище, которое некогда окончил сам. Приобщал его к музыке, регулярно посещал Марию Павловну, у которой росла их общая дочь — Надежда...

Но вернемся к тем, наиболее интересующим нас дням 1820 года.

Прикосновение к пушкинской теме само по себе вызывает трепетное чувство. Как некогда заметил А. Т. Твардовский: «Когда речь идет о Пушкине, не имеет в сущности значения — справлять ли дату рождения или смерти: это не именины, не поминки, а лишь повод для новой встречи с его поэзией, и тем самым, как бы с ним самим, во всем обаянии и блеске его ума и характера, его личности».

Такой повод представился. Встреча с его Музой Марией Мавромихали. К сожалению, это имя известно лишь из писем А. Н. Серова, автора опер «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила». Хочется верить этому одаренному, порядочному человеку. Но нужны факты. Жаль, что сам Пушкин скрыл имя этой женщины, вдохновительницы «Бахчисарайского фонтана» и нескольких «ставрических» строк «Евгения Онегина».

А что Мария Павловна? Она решила оставить этот блистательный факт своей биографии втайне, разве что поделилась им с близким человеком — А. Н. Серовым.

Но, оказывается, был еще один человек, знавший об этом. Это — Федор Карлович Милыгаузен. Несколько слов о нем. По духу и душе он был истинно русским человеком. Сын немецкого кузнечного мастера в Петербурге, он с отроческих лет решил посвятить себя

медицине и на этом поприще преуспел много. Он снискал славу одного из выдающихся русских медиков. Но в апреле 1820 года, будучи уже императорским штаб-лекарем, придворным советником, вынужден был покинуть Петербург из-за тяжелой формы астматического заболевания. И лишь климат южного берега Крыма мог спасти его от гибели.

В апреле 1820 года он приезжает к своему другу Христиану Стевену, директору Никитского ботанического сада, и арендует рядом с его домом небольшое имение М. С. Воронцова «Маграч» («Чистый источник»). Этот источник живительной воды Ай-нянь, вероятно, был воспет Пушкиным. Здесь и состоялась его встреча с П. С. Мавромихали и его дочерьми и, конечно же, с Марией.

В это время знаменитого доктора навещает генерал Н. П. Раевский, с которым они знакомы по Петербургу. Раевского сопровождает сын Николай и гостивший у них А. С. Пушкин. Вместе они отправляются, в сопровождении помощника директора Никитского ботанического сада Эраста Гибнера, осматривать сад — эту жемчужину Крыма.

Здесь Пушкин встречается с пленившей его своей красотой Марией Мавромихали. Между ними состоялась беседа, во время которой поэт сообщает о своем замысле посетить Бахчисарай.

Он узнает от своей собеседницы о том, что дед ее, Стефан-бей, руководил подавлением восстания татар в 1777 году. Искры восстания разлетелись по всему Крыму именно из Бахчисарая. Еще он узнает, что в Марии течет и польская кровь.

Мать Марии оказалась властным, тяжелым человеком, о чем сообщает Серов в письме к своей сестре: «...по милости чудовищной матери они (сестры) подвергались и подвергаются всем возможным угнетениям и унижениям, которые стоило бы труда придумать даже какому-нибудь из Римских тиранов. И это мать и дочери!»

При всем внешнем блеске жизнь Марии Мавромихали была нелегкой. Не исключено, что и замуж ее выдали также по настоянию матери. Потому-то и рас-

строился этот брак. Отвергла ли тогда Мария ухаживания Пушкина? Ведь Пушкин со своей страстной и любвеобильной натурой не мог не влюбиться в южную красавицу, как ее называли здесь, – «крымскую мадонну».

Во всяком случае, он скрыл ее имя. Мы не встречаем его в знаменитом пушкинском «дон-Жуанском списке», записанном им в Ушаковский альбом, ни в одной из частных бесед с друзьями и знакомыми, судя по воспоминаниям его современников и многочисленной литературе о Пушкине.

А прообраз Марии из «Бахчисарайского фонтана» считают почему-то, Марию Раевскую (в замужестве Волконскую), ибо во время пребывания Пушкина в Гурзуфе он якобы был знаком только с одной Марией, а именно – Раевской. Этот вопрос ждет еще ответа, здесь излагается лишь версия его.

Однако вернемся к интересующему нас периоду в пушкинской биографии. Он вспоминает: «В Гурзуфе жил я сиднем, купался в море и обедался виноградом; я тотчас же привык к полуденной природе и наслаждался ею со всем равнодушием и беспечностью...»

И вскоре, здесь же, встреча с красавицей-Марией. Он пишет элегию «Увы! Зачем она блистает...», делает набросок «Там, на берегу, где дремлет лес священный».

Нетрудно догадаться, что здесь речь идет о Пикитском ботаническом саде. Ведь во дворе дома в Магараче находится фонтан Ай-нянь (его развалины сохранились до сих пор). В композицию фонтана входит огромная чаша, в глубине которой античная дева из белого мрамора отжимает воду со своих волос. Этот фонтан, по-видимому, нашел отражение в пушкинских строках:

Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,  
На утренней заре я видел Нереиду,  
Сокрытый меж дерев, едва я мог дохнуть:  
Над ясной влагою полубогиня грудь  
Младую, белую, как лебедь, воздымала  
И пену из власов струею выжимала.

Позднее в «Евгении Онегине» он возвращается к той же встрече:

Мир вам, тревоги прежних лет!

В ту пору мне казались нужны  
Пустыня, воли края жемчужны,  
И моря шум, и груды скал,  
И гордой девы идеал,  
И безымянные страдания..

Хочется верить, что последние две строчки имеют прямое отношение к Марии Мавромихали. Поэт скрыл ее имя, но выплеснул его в своем поэтическом шедевре. Не к ней ли относятся и эти строки:

За нею по наклону гор  
Я шел дорогой неизвестной.  
И примечал мой робкий взор  
Следы ноги ее прелестной.  
Зачем не смел ее следов  
Коснуться жаркими устами..

Да, именно в эти дни из-под пера поэта вышли такие строки:

Ты вновь со мною, наслажденье:  
В душе утихло мрачных дум  
Однообразное волненье!  
Воскресли чувства, ясен ум,  
Какой-то негой неизвестной,  
Какой-то грустью полон я..

Приехавший в сентябре 1837 года в Крым В.А. Жуковский навестил в Магараче Ф. К. Мильгаузена, и они вместе, гуляя по Никитскому ботаническому саду, вспоминали Пушкина и, возможно, изложенные выше строки. Вероятно, Мильгаузен раскрыл Жуковскому тайну прототипа, с которого Пушкин писал Марию в своем «Бахчисарайском фонтане». Гость пожелал познакомиться с ней, увидеть пушкинский «девы идеал». В своих исследованиях известный пушкинист Б. В. Томашевский относительно «Бахчисарайского фонтана» писал: «В действительности Пушкин имел задачей изображение более близких ему чувствований, а не воспроизведение исторических картин из крымско-татарской жизни. Наоборот, личное, лирическое получило особенно яркое и полное выражение». И тем не менее, «чья тень», «чей образ нежный» вдохновляли поэта во время посещения им ханского дворца, остается открытым. Существует множество версий, но ни одного конкретного ответа... Что же касается Марии Павловны Мавромихали-Анастасьевой, то, к сожалению, мы даже

не знаем ни одного ее портрета. А ведь, наверняка, он был и не мог исчезнуть.

Разве что Серов сообщает своей сестре: «За то, что ты изъявила желание срисовать портрет Марии Павловны, я тебе пришлю непременно другой ее портрет, но в профиль только. Это тебе награда».

В Киеве находится великолепный портрет сестры Марии Павловны — Елены Павловны Мавромихали (в замужестве Морэ де Бламенберг) кисти Т. Г. Шевченко. Наверняка, сестры чем-то напоминали друг друга, но все же это не Мария Павловна. Может быть, ее портрет находится в чьей-то частной коллекции? Очень бы хотелось его увидеть, увидеть героиню, вдохновившую Пушкина на создание одного из пленительных женских образов в русской литературе золотого века...

Закончить эту литературную догадку хочу, вновь обратившись к свидетельству А. Н. Серова: «она... вселяла в меня уверенность, что я должен создавать что-нибудь крупное в музыкальной сфере. За это ей бесконечно благодарен, хотя во всех других отношениях мне пришлось из-за нее испытать большие неприятности... Меня не покидало никогда сознание, что Ринальдо есть пришлый гость, «до» и «после» него чародейка расточала свои волшебные чары на других, быть может, более достойных ее внимания».

Грустное признание после многих восторженных и сердечных писем о «бесподобной» Марии Павловне.

*Автор приглашает принять участие в дискуссии по данному вопросу на страницах альманаха «До и после».*

#### Использованная литература

- 1 Серовы Александр Николаевич и Валентин Александрович Воспоминания В. С. Серовой. СПб, 1914
- 2 Письма А. Н. Серова к его сестре С. Н. Дю-Тур (1845-1861) СПб, 1896
- 3 Губер П. А. Дон-Жуанский список Пушкина. Петроград, 1923
- 4 Волконская М. Н. Записки. Чита, 1963
- 5 Чарейский Л. А. Пушкин и его окружение. «Наука», Л., 1973
- 6 Пушкин в воспоминаниях современников. В 2-х т. «Художественная литература», М., 1974.
- 7 Цяпловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. Т. 1. Изд-во АН СССР, 1954
- 8 Гроссман Л. Н. Пушкин. «Молодая гвардия», М., 1960

# ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ

## БЕЗЗВУЧНЫЙ КРИК

Беззаботное майское утро. Возле университета Гумбольдта, как обычно, торгуют книгами. Заманчиво красуются дорожные тома по искусству. Деловитыми стопками лежат путеводители. Увесистые словари соседствуют с лёгкими книжками разноязычных разговорников. Сзади, в картонных ящиках, скромно теснятся старые книги...

Напротив, через Уинтер ден Линден, пустует площадь Бебеля, бывшая Оперная. В центре её, прямо на мостовой, блестит небольшой зеркальный квадрат. В нём отражается улыбочливое небо, здания Городской оперы и Университетской библиотеки. Зеркало оказывается просто толстым стеклом, за которым в многометровой глубине белеют... пустые книжные полки. Что такое?! Почему эти полки под землёй, словно в могиле? Отчего же они совсем без книг?

С двух сторон, чуть в отдалении, в мостовую вделаны едва заметные металлические плиты с пояснительными надписями о том, что это памятник, сооружённый в 1994–95 годах по проекту израильского архитектора Ульмана на том месте, где 10 мая 1933 года студенты-нацисты сжигали книги, написанные неугодными фашистам писателями, публицистами, философами и учёными... Надо перевести дух! Собирается дождь или потемнело в глазах? С трудом читаю дальше: *“Это был лишь пролог. Только там, где сжигают книги, в конце концов сжигают также людей” Геррих Гейне. 1820 год*

Так вот что это такое – незаметный издали памятник “Библиотеке”, сгоревшей в копотном пламени ненависти. На площади перед зданием Библиотеки одного из крупнейших университетов Европы студенты швыряли в огонь книги! Как это было?

Гажёлый том падал в костёр. Сперва траурная обугленная кайма медленно продвигалась по переплёту, а

затем вспыхивали и начинали корчиться и скручиваться от жара отдельные страницы... Не знаю, не знаю...

Наверно, вспотели и перепачкались сажей суетившиеся вокруг костра. Нелёгкая работа – сжигать труды сотен авторов: Генрих Гейне – немедленно в огонь! Зигмунд Фрейд, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Альберт Эйнштейн – этого обязательно в костёр! Франц Кафка, Генрих Манн, Томас Манн, Максим Горький, Джек Лондон, Лион Фейхтвангер, Эрнест Хэмингуэй, Ромен Роллан, Михаил Шолохов, Курт Тухольский, Стефан Цвейг... А почему в огромном списке запрещённых и сожжённых книг не значится Библия?

Костёр полыхал, и беззвучно кричали мучимые огнём страницы. Это был лишь пролог того ада, в пламени которого несколько позже горели люди... даже дети! Кто слышал их крики? Книги горели на площади в центре Берлина. Но такие же книги сохранялись на полках библиотек и повторялись в типографиях других стран. Люди горели в лагерных крематориях. Но нигде во всей Вселенной и никогда в целой Вечности не сможет повториться ни один из сгоревших.

Огонь прелюдии ада на земле Оперной площади переродился через шесть десятков лет в оголённые книжные полки под землёй... Людей сжигали голыми... Беззвучный крик незаглушимо длится... Этот памятник создан человеком из того народа, который называют Народом Книги...

Солнечное майское утро переплавилось в ослепительный столичный день. Можно прогуляться по обновлённой Унтер ден Линден, подойти к Университету, перебирать книги, листать их и улыбаться знакомым строкам.

Но что значит круглая вмятина на стекле памятника, будто след от пули?

*Берлин. 1995, 2000.*

# САМСОН МАДИЕВСКИЙ

## ТРАГЕДИЯ ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА

Полвека назад, 12 августа 1952 года, в Москве были расстреляны осужденные по «делу Еврейского антифашистского комитета (ЕАК)». Обвинение и приговор квалифицировали преступление этих людей как «измену родине».

*Когда, как и зачем был создан ЕАК*

В апреле-мае 1942 года по указанию ЦК ВКП(б) под патронажем правительственного Совинформбюро, которым руководил Соломон Лозовский, был создан ряд антифашистских комитетов, в том числе и еврейский. Во главе его поставили знаменитого артиста, руководителя еврейского театра в Москве Соломона Михоэлса. В состав ЕАК подобрали семь десятков человек с именами, хорошо звучавшими за границей – известных писателей, ученых, деятелей искусства, военных, руководителей промышленности и пр.

Задачи официально формулировались так: «Мобилизация еврейского населения за рубежом на борьбу против фашизма и пропаганда достижений СССР». В обоих направлениях комитет развил бурную, весьма эффективную деятельность. За рубеж было послано более 26 тысяч статей и фотографий, представивших западной общественности нацистские преступления против евреев, борьбу Красной Армии и советских партизан, вклад в нее евреев, достижения последних в различных областях хозяйства, науки и культуры СССР. Продукция ЕАК распространялась через 8 крупных западных агентств и публиковалась 264 периодическими изданиями в 13 странах.

ЕАК стимулировал создание еврейских комитетов помощи СССР. В США было создано 2230 (!) таких комитетов. Для Красной Армии, для эвакуированных,

для жителей освобожденных районов собирались деньги, одежда, обувь, продовольствие, медикаменты и пр. Стоимость собранного составила до 100 миллионов долларов. Однако самым важным было воздействие еврейских организаций на общественное мнение США и Англии с целью увеличения военно-экономической помощи СССР.

### *Поездка Михоэлса и Фефера на Запад*

Большую роль в этом сыграла зарубежная поездка Михоэлса и поэта Фефера летом 1943 года.

Они посетили 14 крупных городов США, участвовали в сотнях митингов, собраний, совещаний, приемов, пресе-конференций. Затем направились в Мексику, Канаду и, наконец, Англию. Совокупная аудитория (включая тех, кто слушал речи посланцев ЕАК непосредственно или по радио, читал их статьи, отчеты об их выступлениях, интервью с ними) составила до 10 миллионов человек.

В ходе поездки были установлены связи с еврейскими организациями названных стран, а также со Всемирным еврейским конгрессом и Всемирной сионистской организацией.

Все беседы делегаты вели с санкции и в присутствии советских дипломатов, через посольского переводчика. На самые важные встречи разрешение давал нарком иностранных дел СССР Молотов, согласовывая вопрос со Сталиным.

Интерес к визиту проявляли все слои еврейской общественности, энтузиазм публики на собраниях был огромен

### *ЕАК и советские евреи*

Ввиду отсутствия в СССР иных еврейских организаций в комитет стали все чаще обращаться советские евреи. Освобожденные из гетто и концлагерей жаловались, что им не возвращают жилье и имущество, эвакуированные — что препятствуют в возвращении к родным очагам. С мест сообщали об усилении антисемитизма и отсутствии реакции со стороны местных властей. ЕАК призывали ставить эти вопросы перед

партийными и правительственными органами, вести не только внешнюю, но и внутреннюю пропаганду и контрпропаганду. В письмах предлагалось ходатайствовать о восстановлении закрытых ранее еврейских культурных учреждений, обучении молодежи родному языку и т. д. и т. п.

Под напором снизу ЕАК, созданный для пропаганды на Западе и привлечения оттуда денежных средств, спонтанно превращался в орган не существовавшей в СССР еврейской национально-культурной автономии.

### *Крымский проект*

Проявлением этой тенденции стала реанимация существовавшего в 20-е годы проекта — создать в Крыму еврейскую советскую республику.

Руководители ЕАК прозондировали позицию верхов, сообщив об обещании «Джойнта» помочь в осуществлении плана. Молотов ответил: «Напишите на мое имя и на имя Сталина докладную записку». В феврале 1944 г. записка была подана, однако вскоре был получен отрицательный ответ.

Через несколько лет, в 1948-1952 годах, Михоэлса (посмертно) и Фефера обвинили в том, что, находясь в США, они «вступили в преступный сговор с тамошними еврейскими националистами»; вернувшись в СССР, «информировали об этом сговоре Лозовского и других сообщников»; наконец, с ведома и согласия ряда членов ЕАК, составили названное письмо, «добиваясь получения территории Крыма для создания еврейской республики, которую американцы рассчитывали использовать в качестве плацдарма против СССР».

### *Затухание связей ЕАК с Западом*

С окончанием второй мировой войны и постепенным вползанием мира в войну «холодную» связи ЕАК с зарубежными еврейскими организациями сходят на нет. В 1946-48 годах отдел внешней политики ЦК ВКП(б) отклонил все предложения ЕАК о посылке делегаций на всемирные и национальные еврейские конгрессы и конференции, в том числе просоветские, не позволил еаковцам посетить ни одну из зарубежных

стран. Предлоги были различными, суть же состояла в стремлении изолировать советских евреев от соплеменников за рубежом, прежде всего на Западе. По мере нарастания напряженности в отношениях с Западом, перерастания ее в «холодную войну», углубления раскола мира на «социалистический лагерь» и «свободный мир», герметизации разделяющего их «железного занавеса» указанная линия проводилась Кремлем все более жестко. Тем более, что лояльность советских евреев все чаще ставилась под сомнение.

### *Власть недовольна*

С декабря 1945 по ноябрь 1946 года ЕАК проверяли три комиссии ЦК. Они нашли, что комитет «явочным порядком присваивает себе несвойственные ему функции главного уполномоченного по делам еврейского населения и посредника между этим населением и партийно-советскими органами, а также роль политического и культурного руководителя еврейских масс...»

В пропаганде ЕАК обнаружили «излишнее выпячивание роли и активности евреев в Отечественной войне и социалистическом строительстве». Стремление проникнуть в еврейскую печать всех направлений было оценено как «политическая близорукость», «утрата элементарной политической бдительности». В сношениях ЕАК с зарубежными еврейскими организациями, отмечали работники ЦК, «постоянно выпячиваются якобы общие вопросы, касающиеся еврейского населения всего мира: вопросы «общей культуры... Палестины... положения евреев в отдельных странах и т.п.» В результате «зарубежные еврейские организации и их представители стали рассматривать ЕАК ... как «свой», еврейский комитет ...»

Выводы звучали тяжелыми политическими обвинениями: «Руководство ЕАК оказалось в плену буржуазной сионистской идеологии, характерной для большинства зарубежных евреев. Работники ЕАК не только включились в общий оркестр сионистов всего мира, но и оказались в фарватере политики американских Барухов ... Связи ЕАК с зарубежными еврейскими организациями не ослабляют сионистские узконационали-

стические тенденции, а, наоборот, в некоторой мере способствуют таким тенденциям...»

Подоплекой инвектив была изменившаяся ситуация в мире. Во время войны национальные чувства евреев, их солидарность использовались Кремлем в интересах СССР. В послевоенных условиях, в обстановке нарастающей конфронтации с Западом, те же чувства представлялись ему опасными.

### *Под дамокловым мечом*

В конце 1945 года Комитет партийного контроля предложил либо реформировать ЕАК, четко определив круг его деятельности, либо распустить в связи с исчерпанием задач, возложенных на него в годы войны. Три года советское руководство колебалось между этими альтернативами.

В марте 1948 года министр госбезопасности СССР Абакумов направил в правительство и ЦК записку, где в отличие от предшествующих документов содержалось прямое обвинение руководителей ЕАК в националистической деятельности и связи с американскими спецслужбами. Сталин, однако, не реагировал восемь месяцев – возможно, рассчитывая как-то использовать комитет в большой игре, которую вел тогда на Ближнем Востоке.

Известно, что Советский Союз, стремясь вытеснить Англию из Палестины, ослабить ее позиции в этом регионе и создать возможность своего проникновения туда, поддержал создание Государства Израиль. Когда армии соседних арабских государств напали на него, Сталин через советских сателлитов в Восточной Европе поставил молодому еврейскому государству оружие. Однако «медовый месяц» советско-израильских отношений оказался недолгим: выявилась иллюзорность надежд превратить Израиль в советский форпост на Ближнем Востоке.

Зато внутри страны флирт с сионизмом возымел неприятное для властей последствие – подъем национального самосознания советских евреев. Те с восторгом встретили создание нового государства. В ЕАК шли письма, индивидуальные и коллективные, с пред-

ложениями начать сбор средств на закупку вооружения для Израиля, направить на помощь ему советских добровольцев-евреев. Многие просили помочь им выехать в Израиль.

Еаковцы оказались в сложном положении. С одной стороны, им нужно было организовывать общественное одобрение советской поддержки Израиля, с другой, что было гораздо труднее, всячески сдерживать энтузиазм евреев. Положение комитета крайне ухудшили спонтанные манифестации в связи с появлением в столице посла Государства Израиль в СССР Голды Мейерсон (Менр), собиравшие по 10-20 тысяч человек.

*Разгон ЕАК. Убийство Михоэlsa. Уничтожение еврейской культуры*

20 ноября 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило решение, поручающее МГБ «немедля распустить Еврейский антифашистский комитет, так как, как показывают факты, этот Комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки». Ряд членов комитета и работников Совинформбюро был уже арестован. В конце 1948 – начале 1949 года та же участь постигла наиболее активных членов президиума ЕАК, Лозовского и его помощников-евреев.

Михоэlsa среди арестованных не было – он был убит еще в январе 1948 г. Всемирная известность, широкие связи за рубежом, осведомленность о секретных зондажных подходах Кремля к лидерам сионизма – все это сделало его неудобным и даже опасным. Последней каплей стало намерение председателя ЕАК познакомиться с дочерью Сталина и ее тогдашним мужем-евреем – по-видимому, в надежде лоббировать интересы советских евреев. Намерение истолковали как шпионаж, и Сталин отдал МГБ приказ – ликвидировать Михоэlsa. Убийство представили как автокатастрофу, убитому устроили пышные государственные похороны, а убийц втайне наградили боевыми орденами.

Вслед за роспуском ЕАК были ликвидированы сохранявшиеся еще очаги еврейской культуры; распуше-

ны объединения еврейских писателей, закрыты еврейские издания, школы, театры, музеи. Из магазинов и библиотек изъяли литературу на идиш, уничтожили даже пишущие машинки и наборные станки с еврейским шрифтом. По сфабрикованным обвинениям арестовали цвет еврейской творческой интеллигенции – 430 писателей, артистов, художников, музыкантов. Лишь немногие вернулись потом из тюрем и лагерей.

Государственный антисемитизм, зародившийся в СССР в конце 30-х годов, в эпоху «большого террора» и утверждения сталинского единовластия, в конце 40-х и начале 50-х годов достиг апогея. Произошло это в силу ряда причин – дальнейшей шовинизации национальной политики, обострения противостояния Западу, оценки Сталиным сионизма как «ударной силы империализма США», а советских евреев как его потенциальной «пятой колонны».

*«Дело ЕАК»: следствие, суд, приговор*

Следствие по «делу ЕАК» шло более трех лет. Многодневные изнуряющие допросы, длительное лишение сна, многочасовые «стойки», кончавшиеся потерей сознания, карцеры без отопления, света, еды и коек – и непрерывные угрозы, глумления, издевательства... Когда это не действовало, в ход шли жестокие побои.

В марте 1952 года 15 человек – Дозовский, Фефер, главврач московской больницы Шимелювич, известные писатели и поэты Бергельсон, Маркиш, Квитко, Гофштейн, преемник Михоэлса на посту руководителя ГОСЕТа Зускин, академик Лина Штерн, бывший замминистра госконтроля Брегман, бывший зав. отделом Совинформбюро Юзефович, журналист-переводчик Гальми, редакторы Ватенберг и Теумин, переводчица Ватенберг-Островская – были преданы суду по обвинению в шпионаже и пропаганде буржуазного национализма.

Министр госбезопасности Игнатьев направил обвинительное заключение Сталину с предложением осудить всех, кроме Штерн, на смертную казнь. Политбюро ЦК ВКП(б) согласилось.

Однако далее сценарий не сработал. На первом же

заседании суда (закрытого) Шимелинович, Лозовский, Маркиш, Брегман заявили о своей невинности, 9 человек признали вину лишь частично. А в ходе дальнейшего разбирательства все обвиняемые отказались от вымученных признаний. «Дело ЕАК» затрещало по швам. Председательствующий генерал Чепцов прервал процесс и поставил вопрос о возвращении дела на исследование. Он обращался в высшие судебные, государственные, партийные инстанции, пока не дошел до Маленкова.

Второй человек в партии бросил Чепцову: «Выполняйте решение политбюро!» Впоследствии Маленков заявил: «Все, что он (Чепцов) сказал, я не посмел не доложить Сталину».

Дисциплинированные солдаты партии, Чепцов и двое других судей вынесли 13 подсудимым смертные приговоры. Штерн получила пять лет ссылки (крупный ученый, полагал Сталин, может пригодиться). Брегман, чье дело из-за болезни было отложено, вскоре умер в тюрьме.

Политбюро отклонило просьбу осужденных о помиловании. 12 августа 1952 года приговоры были приведены в исполнение. Тела расстрелянных сожгли в крематории Донского монастыря в Москве, а прах свалили в общую яму.

# СЕМЕН ПАНЧЕШНИКОВ

## ВЕЛИКИЙ, МОГУЧИЙ И ЗАБЫТЫЙ...

Да, Вы правильно угадали, глубокоуважаемые читатели, в этой статье речь пойдет о Русском Языке. После этой фразы предвижу мощный хор возмущенных голосов: „Мы тут с немецким мучаемся, учим и никак не выучим, а автор, видимо, хочет повернуть историю вспять. Уж как-нибудь русский мы знаем. Нам бы немецкий язык выучить на уровне русского, и тогда все языковые проблемы будут решены». Надо согласиться, что в этом утверждении истина есть, но только отчасти. И вот почему. Возможно ли овладеть иностранным, если не владеешь родным литературным, в нашем случае, русским языком. Многие ли из нас могут сказать, что язык А. Пушкина, П. Тургенева, А. Чехова и других классиков для нас стал обычным, повседневным языком общения. Вместе с тем, немецкому нас учат на основе литературы немецких классиков: Гете, Гейне, Шиллера и других великих немцев. Поэтому для нас отдельные обороты речи, построение предложений и грамматика немецкого языка кажутся сверхтяжелыми понятиями. Отсутствие у нас знаний литературного русского языка – это не наша вина, а наша беда. После 1917 года классический, литературный язык был признан буржуазным и по существу запрещен в качестве языка общения. Пожалуй, только при переписке с иностранными государствами на уровне первых лиц применялись обороты, так называемого буржуазного языка, «языка угнетателей». Им же, иностранцам, не понять, что у нас все «равны», и их благородия отменены пролетарской революцией. Цену социалистического равенства мы прочувствовали на себе. В качестве примера могу привести следующее : работая в 70-тых годах в Министерстве юстиции, я получил из Совета Министров инструкцию о составлении служебных деловых бумаг, где четко были расписаны

требования, предъявляемые для составления документов. Особый интерес представляли рекомендации о правильном написании адресата.

Если обращаетесь к нижестоящему чиновнику, достаточно одной буквы т., например, т. Петрову, причем инициалы рекомендовано было не указывать.

Обращение к лицу, равному с вами по положению, требует уже три буквы «тов.» с указанием инициалов.

К чиновнику вышестоящей инстанции инструкция требовала полного написания «товарищ» и указания не инициалов, а полного имени и отчества.

И, наконец, при обращении к высшим партийным и государственным деятелям следовало после слова «товарищ», указать полное имя, отчество, а затем фамилию.

Как говорится, комментарии излишни. Казенщина и лицемерие в первую очередь отразились на литературе.

К сожалению, большинство современных художественных произведений содержат стандартный набор слов, составляющий не более десяти процентов от возможностей русского языка. Исключением из этого ряда являлись несколько десятков фамилий, но и эти талантливые литераторы явно не дотягивают до классиков девятнадцатого века. В современных литературных опусах нецензурные слова и жаргонные выражения стали постоянной лексикой героев произведений. Складывается впечатление, что мат является нормой для всех слоев общества. Причем отдельные высокопоставленные лица этим даже гордились.

Таким образом, у нас сегодня сложилось четыре самостоятельных языка, причем каждый причисляет себя к Русскому. Это классический литературный язык, бытовой, жаргонный и язык нецензурных выражений. Из них два последних языка имеют тенденцию роста. По статистике каждое седьмое слово у нас относится к ненормативной лексике. На профессиональном жаргоне теперь говорят студенты и учащиеся, музыканты и электронщики, спортсмены и охотники. Но можно ли жаргон отнести к русскому языку, посудите сами.

Язык электронщиков.

«На этой харде кажется эпоксидка, энурез последний, нужно будет эфтенуть. Я выйду на минутку, а ты того юзвера к аппарату не подпускай, может кидануть!..»

Где хард – жесткий диск; эпоксидка – несложная программа; энурез – восстановленная программа; эфтенуть – скопировать; юзвер – неумелый; кидануть – сломать компьютер.

Язык музыкантов.

«Ну и киксу выдает, за что только ему парнас дают. А еще на запил тянул, только из-за него сингерма нам отказала».

Здесь кикса – издавать фальшивые ноты; парнас – деньги за исполнение музыки; запил – длинное, шумное соло; сингерма – певица.

Этот ряд можно продолжить до бесконечности. Но я думаю, что и этого достаточно для того, чтобы убедиться, что жаргонную речь и литературный русский язык роднит только алфавит. Но, ради бога, не подумайте, что на такой тарабанщине общаются все музыканты и электронщики. В основном это высокообразованные, интеллигентные специалисты, заслужившие почет и уважение.

А теперь позвольте перейти на язык, заслуженно получивший эпитет изящной словесности, признанный одним из самых богатых и великих литературных языков в мире.

«Милостивый государь, Константин Степанович! Я получил от вас извещение об избрании меня в члены-корреспонденты Академии наук и диплом на это звание. Прошу покорно передать высокоуважаемому собранию, удостоившему меня этой чести, мою глубокою признательность.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном почтении и преданности.

Граф Лев Толстой, 11 апреля 1874 года.»

«Милостивая государыня Александра Андреевна!

С сердечной благодарностью посылаю Вам мой адрес и надеюсь, что обещание Ваше приехать в Петербург не есть одно любезное приветствие. Примите изъявления моей глубокою признательности за ласко-

вый прием путешественнику, которому долго памятно будет минутное пребывание в г. Казани. С глубоким почтением, честь имею быть

А. Пушкин, 8 ноября 1833 года.»

Два великих классика, два различных письма. Одно носит служебный характер, а другое – бытовой. И вместе они могут служить образцами эпистолярного жанра, раскрывающего в нескольких строчках богатство и изящество русского языка. Сколько уважения и благородства скрывается за этими крошечными благодарственными обращениями, демонстрирующими виртуозное владение языком. И таких примеров множество, и не только за подписью известных деятелей. Такова была культура просвещенной части российской общества.

Не последнюю роль в становлении на Руси цивилизованных отношений сыграл «Табель о рангах всех чинов» от 24 января 1722 года. Смею напомнить, что согласно этому документу все чиновники, военные и придворные чины были распределены на четырнадцать классов, в зависимости от заслуг, должности, стажа работы и воинского звания.

Самые маленькие чины относились к четырнадцатому классу и требовали обращения: «Ваше Благородие».

Высшие чины относились к первому и второму классу и были «Высокопревосходительствами». Между чинами низшего и высшего классов имели место быть: 8-6 классы – «Ваше Высокоблагородие», 5 класс – «Ваше Высокородие», 4-3 классы – «Ваше Превосходительство».

Отдельная таблица существовала для придворных чинов. Наглядным примером служит присвоение А. С. Пушкину придворного звания. 31 декабря 1833 года ему был присвоен чин камер-юнкера. Это соответствовало чину пятого класса. Пушкин был оскорблен таким низким чином. Но имел ли он основание? До того Александр Сергеевич имел гражданский чин титулярного советника, что соответствовало девятому классу. Это был низкий чин, который даже не позволял ему являться во дворец. Чин камер-юнкера снимал это пре-

пятствие. Более того, он всего на одну ступень был ниже генеральской должности. Можно ли это расценивать в качестве оскорбления со стороны императора. Ведь Пушкин не служил в армии, не занимал высокий пост в иерархии гражданской службы. Он был поэт. Великий поэт, но... не служака.

Представляют интерес и другие рекомендации. Так, применение «Высокоуважаемый», имеет место при обращении к равному или старшему по возрасту, а «Высокопочтимый» – то же самое, но с большей степенью почета. Эпитет «Глубокоуважаемый» использовался к лицу, занимающему высокое общественное положение. Были выработаны определенные стандарты при обращении к высшим чинам. Основное условие общения – взаимоуважение, имело место, даже если стороны находились в неприязненных отношениях. Из истории известно, что А. С. Пушкин и граф А. Х. Бенкендорф находились далеко от приятельских отношений. И тем не менее, просьба поэта к Министру внутренних дел была выдержана в духе уважения и благородства.

«...Если Вы соблагородите снабдить меня свидетельством для цензуры, то вследствие Вашего снисходительного позволения, осмеливаюсь просить Вас о доставлении всех сих бумаг издателю моих сочинений...».

Удивительной привилегией обладало самое низшее сословие Российской империи – крестьянство. Единственному из всех классов – крестьянству было предоставлено обращаться к императору на «Ты», и не снимать шапку в его присутствии. Тем самым подчеркивалось, что основным кормильцем в стране был крестьянин, а царь выступал в качестве отца, который может защитить, но и наказать, как глава семьи. Царь и крестьяне – единая семья. Не случайно в Российской истории народные восстания были направлены против бояр, дворян, чиновничества, но не против государя. Вспомните, что даже в январе 1905 года народ с иконами шел поклониться царю – батюшке, и если бы не провокация социалистов, все могло быть иначе.

В истории России и Германии много общего. Единая монархическая ветвь, единое понимание государственности, экономики и культуры, много общего име-

ют русский и немецкий языки (грамматика, слова, принцип построения предложений и фраз). Все это, на мой взгляд, облегчает взаимопонимание наших народов. А языковой барьер будет взят, и говорить мы будем на грамотном немецком языке, только для этого вспомним наш могучий и богатый, изящный и музыкальный литературный русский язык.

# АЛЬФРЕД ХОДОРКОВСКИЙ

## МАСТЕРСТВО СЛОВОТВОРЧЕСТВА ИЛИ НАСИЛИЕ НАД СЛОВОМ

(по поводу произведения А. Солженицына  
*«ДВЕСТИ ЛЕТ ВМЕСТЕ»*)

Не касаясь содержания, характера и выводов, сделанных автором вольно или невольно, остановимся на рассмотрении частного лингвистического вопроса: словотворчество как один из элементов в языковой системе автора.

Употребляя в своём произведении новые, им образованные слова и формы слов, А. Солженицын широко пользуется одним из наиболее употребляемых способов словообразования – суффиксально-префиксальным. Его неологизмы часто неожиданны и по звучанию, и по семантике, и по своеобразному сочетанию морфем. Этим они обращают на себя внимание читателя, вызывая определённое отношение не только к стилистике автора, но и к произведению в целом.

Остановимся на ряде примеров, разбив их на несколько групп по частям речи.

Начнём с наблюдений над наречиями, взяв для удобства отдельные словосочетания или целые предложения.

– состояние России столь *крушительно* изменилось.

Глагол «крушить» (ломать, разбивать на части, использовать) использован для образования наречия «крушительно». Оно же близко по звучанию и значению к наречию «сокрушительно» (уничтожающе, разрушительно). Употребляя этот неологизм, автор пренебрёг словом «резко». Оно, по-видимому, его не удовлетворяло, т.к. не говорит о характере изменений. Легко догадаться, что автор хотел указать на разрушительный характер происходящего, но соответствующего слова не нашёл.

– Народное мнение бывает гул неразборчивый, и

хуже *угрозно*

*угрозно* принятый разбор.

Так слова «и розно», «с угрозой», «угрожающе» заменены новой формой «угрозно», очевидно, от глагола «угрожать».

– *неотклонно* требовал... своего решения вопрос (вместо «неуклонно»).

Он пишет о них (действиях) крайне *неразборно* и неясно.

В этом случае вместо слова «неразборчиво» автор употребил «неразборно», вкладывая в него тот же смысл. Слово «разборный» означает «состоящий из частей», отсюда «разборный дом», «разборная модель». Поэтому в сочетании «он пишет... крайне неразборно» смысл новообразованного наречия звучит невяжко.

– Правые деятели действовали *напроломно*.

Наречие «напролом» (разг.) исчерпывает понятие «не выбирая пути, не считаясь с обстоятельствами, действуя напрямик, силой». Образованная автором форма по образцу «огромно», «вероломно» никакого преимущества перед словом «напролом» не имеет и звучит непривычно для слуха.

Традиционно слово «крайне» употребляется только в словосочетаниях типа «крайне внимательно», «крайне важно», «крайне удивлён». Поэтому неологизм «закрайне» звучит более чем странно:

– Весной 1911 Пурешкевич предлагал Думе *закрайне*: «Евреям строжайше запрещается...» (имеются в виду радикальные, крайние меры).

Слова «крайний», «крайне» сами по себе означают предел чего-то. Приставка «за» в слове «закрайне» ничего к данному понятию не прибавляет. Кроме этого, созвучие его со словами «закрай» (кромка), «закрайна» (пространство между берегом и краем льда) мешает восприятию всей фразы.

Приведём без комментариев ещё несколько примеров:

суд был *неохватимо* громоздок (неохватно);

*наиверно* будет заключить (вернее всего),

*всесердечно* поддерживать воюющую сторону (сердечно, всем сердцем);

– *поёжисто* выходить перед разгневанным парламентом (поёживаясь);

– писал *переклошно*. (вместо «преклоняясь», «протельно»);

– он *превышающе* представлял себе (в большой стене).

Продолжая рассматривать другие примеры, вспомним такое лингвистическое понятие как контаминация, т.е. возникновение новой формы или выражения или нового значения слова путём объединения элементов двух однородных созвучных форм, смешение частей двух сходных форм и выражений. Известные примеры: брать значение – из «иметь значение» и «играть роль», «пожать удел» – из «получить удел» и «пожать плоды».

Часто в таком ключе действует А.Солженицын, по своему соединяя слова. В результате возникают словосочетания:

– решительный *отворот* (из «решительного поворота»);

– то был *возыв* (из «то был призыв»);

– революционный *раскол* (вместо «накал»);

– *прилепчивая* бранность (вместо «прилипчивая бань»);

– *устрожение* запретов (вместо «ужесточение запретов»);

– *сотрясающее* впечатление (вместо «потрясающее впечатление»);

– *размахнуть* революцию (вместо «расширить революционное движение»);

– *соорудиться* с Лениным (вместо «сотрудничать»)  
т.д.

Может возникнуть вопрос: Как автор создаёт новые формы слов взамен привычных в устоявшихся словосочетаниях?

Ответ прост: подменой одной приставки другой, одного суффикса другим. Формотворчество, столь сильно овладевшее автором, коснулось также имён существительных.

Обратимся к примерам:

– срок моей жизни на *исчерте* (от глагола «исчерпать»);

представлено в книге *наслоем* множество документов.

В данном случае трудно определить часть речи неологизма, т. к. он может отвечать на вопрос имени существительного: представлено чем? – *наслоем* и на вопрос наречия: представлено как? – *наслоем*

а ещё принял трон Александр II в тяжёлой *невьязности* Крымской войны, в *перекачливости* трудного решения выстоять или сдаваться

Есть слова «перекатка», «перекачывание», «перекачивание», «перекачка», а что означает слово «перекачливость»?

- с этими частными *полегчаниями* для евреев (от «полегчать», в значении «облегчение», «ослабление»);

- Но вот еврейско-русская интеллигенция... встретилась с русской культурой... в *затопе* от потока и западной культуры в Россию в те годы... (от «затопить», в значении «переполненной от потока»? А чего стоит сочетание «затоп от потока»?)

этот *переклон* мог произойти по-разному... (перегиб, отклонение?)

- подымаясь на *огляд* всемирный... (обзор, осмотр?)

- они дают возможность *огляда*... (окинуть взглядом? оглядеть – огляд, подобно нарядить – наряд, отрядить – отряд?)

то был *возыв* (воззвание, призыв?);

- участие в революционном *будоражении* студентов (от «будоражить», ср. напрягать – напряжение, соблюдать – соблюдение);

- такова – прирождённая мобильность еврейского характера и его опережающая повышенная чуткость к общественным течениям, к *проступу* будущего (к тому, что выступает изнутри на поверхность – от глагола «проступить»? Или имеется в виду «к росткам будущего»? И неудачно созвучие со словом «проступок»);

- в *этом разномесьи* не преминуло возникнуть «Возрождение»... (очевидно, из сочетания слов «разное месьиво» в значении «мешанина», разнообразие взглядов и стремлений);

- при всей *неразбуженности* коренного населения...; (от причастия «разбуженный» с отрицанием *не* – и суф-

фиксом *-ость* образовано имя существительное, означающее «пребывание в состоянии сна, сонливости»),

– контрабанда революционной *печатности* (*от* «печатать», «печатный» в значении – совокупность напечатанного, т.е. печать; особенностью слов на *-ость* является наличие в них определённого признака, ср. злобность, статность, мудрость, ловкость, поэтому неологизм «печатность» звучит чужеродно),

– Не уследившая дальнейшей судьбы «студента Циона» (Пинхуса Рутенберга) – безответственного *взмутчика*... мятежа. (Одно из значений слова «мутить» означает «побуждать», «подстрекать к проявлению недовольства». Но слово «взмутить», согласно словарным толкованиям, образовано от «мутить» в значении «сделать мутным». Отсюда «взмутчик» ~ лицо, делающее что-либо мутным. Автор отказался от этой схемы и, выбрав нужное ему толкование слова «мутить», образовал неологизм «взмутчик» в значении слов «возмутитель», «подстрекатель».)

Весь этот... процесс, при годовом *расколе* прессы... стал судебной Цусимой России (о деле Бейлиса).

– После долгой *дремли* (сонного оцепенения, бездействия, вялости); в русском языке имеются однокоренные слова: дрёма, дремота, *дремотность*, но автору понадобилось более весомое слово и по форме, и по смыслу; так по образцу «ловить – ловля», «грести – гребля» возникло «дремля»,

– *от разберёда* инцидентом (имеется в виду – от растревоженности; неологизм образован от глагола «разбередить» по образцу: «разбрестись – разброд», «заходить – заход». Слово звучит тяжеловесно и стилистически плохо сочетается со словом «инцидент»).

Вот этого *переклона* тогда никто не понимал. (О чём речь? Об отклонении от определённой линии поведения, деятельности или о преклонении перед кем-то? Читатель с трудом догадается, что речь идёт о русской интеллигенции, которая не должна отказаться от своего национального чувства. Это пример наиболее неудачного словообразования, когда неологизм не несёт в себе достаточного семантического наполнения).

Может быть, это обвинение возникло не без *под-*

*жиза* от (?) германского штаба... (На слуху у нас слово «поджог», но автору, очевидно, требовалось слово с несколько другим семантическим значением, и в глаголе «поджигать», одно из значений которого – вызвать пожар, возбудить, разжечь, он нашёл, как ему показалось, искомое: поджигать – поджиг, т.е. намеренное действие провокационного характера).

Первые *раззадорщики* победы... (Одно из значений глагола «раззадорить» – возбудить сильное желание. Оно и понадобилось для образования данного неологизма по образцу: спорщик, пыльщик, носильщик. И ещё несколько примеров новых слов без комментариев: устояние, устрожение, разнотяготение, многочислене, опозорение. Насколько они приемлемы судите сами).

– *Многоположные* точки зрения (очевидно, исходящие из разных положений: положить – полож+н+ый – положитель; местоименное наречие «много» в сочетании с искусственно созданным отглагольным прилагательным «положный» образовало новое слово «многоположный» по типу «многоэтажный», «многополюсный», «многоголосый»). Но в основе этих слов существительные этаж, полюс, голос, а не глагол.)

– находиться в *заколенном* положении... Попробуем разобраться, что это такое: от глагола «заколотить» (карту) – забить в колоду, засунуть неизвестно куда; «заколотиться» – забиться куда-либо; «заколотило» – заковало, замёрзло на дворе; нет счастья, нет удачи, не везёт /В.И.Даль. Толковый словарь русского языка/. Убедимся, что к данной фразе можно отнести только значение слова «заколотиться», тогда становится понятным, что речь идёт об ограниченном, стеснённом положении.

– Эта *угроженная* мера выселить евреев из пограничной зоны... (Этот неологизм семантически неточен, т.к. слово «угроженная» образовано по образцу страдательного причастия прошедшего времени /ср. обветшалый, подстреленный/, но речь идёт о мере, которая ещё не осуществилась, потому в этом случае уместно использовать действительное причастие настоящего времени -угрожающая мера.)

– Николай I занёсся в *закраиней* самоуверенности... (вспомним уже названное наречие «закраине». Слово «крайний» определяется, как находящийся на краю, предельный, исключительный, радикальный. Как говорится, куда уж дальше... Автор, по-видимому, хотел сказать «крайние», «последовательные», «ортодоксальные». Но слово «крайний» включает в себя эти понятия.)

– И даже *закраиние* еврейские социалисты старались как-то совместить свою идеологию с национальным чувством.

– Этот внезапно возникший барьер был более чем *досадителен*, он вызвал озлобление. (Краткая форма прилагательного «досаден» /от «досадный»/ не удовлетворила автора, и он обратился к другому образцу: к отглагольным прилагательным типа «медлительный», «заразительный» – медлителен, заразителен, в составе которых имеется суффикс *-тель*. У слова «досадный» этой морфемы нет, поэтому краткая форма образуется иначе, ср. громадный – громаден, а не «громадителен», отрадный – отраден, а не «отградителен»).

Как видим, в сфере языковой нарушения установленных норм словообразования ведёт к нежелательным результатам. Это подтверждается и другими примерами:

– Столыпин ясно понимал... *неотклонимое* направление эпохи к уравниванию евреев в правах.

– Уже создался *неотклонный* накал.

– Ещё был особый, совсем не массовый, но и не *пребрежимый* путь ассимиляции

– Российские власти не сумели... решить проблемы еврейского населения: ни в сторону *приемлющей* ассимиляции, ни чтоб оставить евреев в добровольном отчуждении и самоизоляции... (Эти слова созданы без учёта правил образования страдательных причастий настоящего времени /см. Д.Э.Розенталь. Справочник по правописанию и литературной правке, с.59/. Согласно этим правилам следовало бы употребить следующие формы причастий: неотклоняемый, пренебрегаемый, приемлемый.)

Вызывает сомнение правильность новообразован-

ных форм имён прилагательных и в следующих случаях:

погром произвёл *сотрясающее*, неизгладимое впечатление...

– евреи имели... мощнейшую *заединую* поддержку...

Как показывают наблюдения над неологизмами в произведении А.Солженицына «Двести лет вместе», значительная их часть образована без учёта существующих правил словообразования. Они нередко труднопроизносимы, их смысл не всегда чётко обозначен, что затрудняет восприятие текста. Создавая и употребляя неологизмы, автор часто не учитывает степень их лексической сочетаемости с другими словами в предложении.

Наряду с некоторыми новыми словами или формами слов, которые имеют шанс найти своё место в живой речи, в большинстве случаев употребления новых форм в русском языке имеются эквиваленты, отличающиеся понятийной точностью и благозвучием. Некоторые неологизмы напоминают нам давно вышедшие из употребления формы старославянского языка. Зачем тогда нужно было автору столь активное формо- и слово творчество? Чем оно было вызвано? Стремлением выразить мысль своеобразно и впечатляюще? Желанием подчеркнуть свою *русскость*, *кондовость* средствами языка? Неудовлетворённостью обычно употребляемыми словами и формами выражения мысли в современной русской речи?

Грудно за автора ответить на эти вопросы.

Словотворчество – необходимый и естественный элемент развития языка. Но к образованию и применению неологизмов надо подходить с определённым тактом и мерой. Стремление создать слова или новые формы уже существующих слов с иным смысловым оттенком, новой стилистической окраской не исключает необходимости пользоваться существующими правилами словообразования. Если же неологизм приблизителен в смысловом отношении и при этом ещё неблагозвучен, то цель, поставленная автором – более точно выразить мысль, расширить возможности речи, – не будет достигнута.

Не отрицая словотворчества как такового, мы понимаем, что практика живой русской речи самым естественным образом отторгнет те формы слов, которые не соответствуют строю языка, особенностям его формообразования и произношения, и оставит те неологизмы, которые обогатят словарный состав и семантику русской речи.

# ДАВИД ШИМАНОВСКИЙ

## НА СТРАЖЕ УСТОЕВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Граф Александр Христофорович Бенкендорф крупнейший государственный деятель России первой половины XIX в. Этого не отрицают и советские историки, которые в то же время единодушно клеймили его как „сатрапа самодержавия», „душителя российской свободы» и т. п. Столь одноцветная характеристика исторической личности с предвзятых идеологических позиций очевидно далека от научной объективности. Мы попытаемся воссоздать более реалистичный портрет этого выдающегося человека, отнюдь не идеализируя его.

Из дореволюционных биографических справочников узнаем, что предки А. Х. Бенкендорфа родом из старинных франконских дворян, в XVI в. переселившихся в Лифляндию, а после Ливонской и Северной войн перешедших на службу к русским царям. Среди них были и военачальники, и крупные гражданские чины, даже рижский буртграф. Дед А. Бенкендорфа дослужился до генерал-лейтенанта, стал комендантом Ревеля, позже – воспитателем наследника престола Александра Павловича. Отец, Христиан Иванович, будучи потомственным военным, ту же судьбу уготовил и старшему сыну Александру, родившемуся 23 июня 1783 г. в родовом имении под Петербургом. И действительно, 15-летний юноша по традиции начинает службу в лейб-гвардии Семеновском полку, вскоре произведен в унтер-офицеры, а позже – в прапорщики с назначением флигель-адъютантом к императору Павлу. Столь блестящее начало приблизило молодого Бенкендорфа к придворным кругам, но тот явно тяготился высшим светом и в 1803 г. попросился в передовой отряд князя Цицианова, действовавший в недавно присоединенной Грузии. Он отличился при взятии турец-

кой крепости Гянджи, а в следующем году проявил храбрость в боях с лезгинцами, за что и получил свои первые боевые награды — ордена Анны и Владимира 4-й степени.

Организаторский талант молодого офицера проявился при секретной командировке на о. Корфу, где он в короткий срок сумел сформировать легион из тысячи добровольцев для восстания против французов. Император Наполеон I-й стремился покорить всю Европу, и в 1806 г. Россия вступила в войну с Францией на территории Пруссии, где А. Х. Бенкендорф участвовал в сражении при Прейсиш-Эйлау 7-8 января 1807 г. В этом бою русские войска успешно отразили атаки наполеоновских войск. За это Бенкендорф награжден орденом Анны 2-й степени. После заключения с Францией Тильзитского мира он произведен в полковники и направляется в посольство графа П. А. Толстого в Париже. Но дипломатическая служба ему не импонировала, и в 1809 г. он попросился добровольцем в армию против турок, где всю войну провел в авангарде, выполняя самые рискованные и трудные поручения. Особенно отличился в битве под Рущуком, где возглавил стремительную атаку чугуевских улан и опрокинул крупный турецкий отряд, угрожавший тылу русской армии, за что был награжден почетным орденом св. Георгия.

Отечественная война 1812 г. стала судьбоносным этапом для всех слоев населения России, в том числе и патриотического дворянства. А. Х. Бенкендорф с первых же схваток в чине генерал-майора участвует в защите подступов к Санкт-Петербургу. Командуя авангардом войск ген. Винценгероде, он 27 июля в сражении при Велиже провел блистательную контратаку против наступавших французов. Выполняя опасное задание по установлению связи корпуса графа Витгенштейна с главной армией, он с 80 казаками прошел по вражеским тылам и захватил более 500 пленных. При отступлении русских войск возглавил арьергард, присоединив к своим силам два казачьих полка, вышел к Волоколамску, разбил неприятеля и пленил 8 тыс. человек. После освобождения Москвы Бенкендорф стал

её комендантом, захватил 8 тыс. пленных и 30 орудий. Под руководством Кутузова преследовал Наполеона до Немана, взял в плен более 5 тыс. французов, в том числе трех генералов. В 1813 г. Бенкендорф во главе крупного летучего отряда сражался под Франкфуртом-на-Одере, выиграл бой под Фюрстенвальдом, участвовал во взятии Берлина, Дрездена, Люнебурга, за что награжден орденом св. Анны 1-й степени и золотой шапкой с бриллиантами. В „битве народов» под Лейпцигом он успешно командовал левым крылом русских войск, затем взял Кассель и был перебросен в Голландию, где быстро очистил от французов Утрехт, Амстердам, Роттердам и другие города, захватив сотни орудий и множество пленных. В награду за это ему были вручены орден св. Владимира, Большой Крест шведского меча, шапка от нидерландского короля и золотая сабля от англичан, а в 1814 г. за переправу через Рейн - бриллиантовый знак к ордену св. Анны. В Россию Бенкендорф возвращается в 1816 г. овеянный легендарной славой, чтобы командовать драгунской и кирасирской дивизиями, а позже - гвардейским корпусом в чине генерал-лейтенанта.

В этот период в жизни боевого генерала происходит крутой перелом. По собственной воле он попадает в самую гущу внутриполитических событий. Его глубоко встревожили настроения умов радикальной части дворян, особенно офицеров, под влиянием революционных идей Запада решивших ликвидировать абсолютную монархию и крепостное право в России. Бенкендорф был искренне убежден, что подобные преобразования приведут страну к катастрофе, разрушив ее фундаментальные устои. Узнав о заговоре членов „Союза благоденствия», он по велению долга и чести пишет Александру I докладную записку, которой тот однако не придал должного значения. А вскоре, после внезапной смерти царя, 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади произошло восстание, в подавлении которого Бенкендорф принял энергичное участие, командуя кавалерией. Новый император Николай I включил его в следственную комиссию по делу декабристов и поручил составить проект центрального органа поли-

гического сыска („министерства полиции») для предотвращения впредь государственных беспорядков, а в 1826 г. назначил шефом жандармов, главным начальником 3-го отделения собственной его императорского величества канцелярии и членом сената. А. Х. Бенкендорф добросовестным образом укреплял в России политическую стабильность и законопорядок, прибегая порой и к крупным расправам. Так, в 1841 г. он жестоко подавил волнения крестьян в Прибалтике. Николай всецело доверял ему и брал с собой в поездки по российским губерниям и за границу. В 1828 г. верный инвентарщик сопровождает и охраняет императора в туземном походе, вновь отличившись как военачальник при осаде Браилова и переправе через Дунай, в сражении при Шумле и взятии Варны, за что получил орден Владимира 1-й степ. и звание генерала от кавалерии. В завершение всего царь удостоивает его титулом графа, высшим орденом Андрея Первозванного и назначил членом Государственного Совета.

К наиболее спорным страницам биографии А. Х. Бенкендорфа относится история его взаимоотношений с А. С. Пушкиным. Многие историки и литературоведы считают, что шеф жандармов сыграл зловещую роль в судьбе опального поэта. Действительно, царь Николай поручил ему как начальнику 3-го отделения плотнее „опекать бунтаря», но их отношения выходили далеко за официальные рамки. Конечно, граф был послушным исполнителем воли императора, взявшего на себя миссию личного цензора Пушкина, и вынужден был контролировать литературную и общественную деятельность поэта, заподозренного в связях с декабристами. Так, по поручению царя Бенкендорф отчитывал его за недозволенную поездку на Кавказ с посетителем Эрзерума, сделал ему строгое внушение за памфлет против министра просвещения Уварова. Вместе с Пушкиным, своим острым пером не щадивший никого из сильных мира сего, включая царя и всемогущего фельдмаршала Барклайя, не написал ни одной строки в защиту Бенкендорфа. Более того, он уважал его и в какой-то степени даже доверял своему „покровителю», признаваясь тому в письме от 24.03.1830г: „Если до настоящего времени я

не впал в немилость, то обязан этим... единственно Вашей личной ко мне благосклонности. Но если Вы завтра не будете министром, то послезавтра меня упрячут». Вероятно потому же он незадолго до дуэли подготовил объяснение в адрес Бенкендорфа, в котором изложил обстоятельства, побудившие его послать вызов Дантесу: «Граф! Считаю себя вправе и даже обязанным сообщить Вашему сиятельству о том, что недавно произошло в моем семействе». И далее он через Бенкендорфа доводит до сведения правительства и общества основные факты, вынудившие его защищать свою честь и доброе имя жены.

Бенкендорф был счастливо женат на Елизавете Андреевне Захаржевской, статс-даме при дворе.. Сыновей не имел и свой графский титул передал племяннику. Умер он в 1844 г., у постели графа царь признал его благотворное влияние на трон: «В течение долгих лет он ни с кем меня не поссорил, а примирил со многими». В устах жестокого монарха, столь скупого на похвалу, эти слова немало значили.

# МИХАИЛ ЭНЕНШТЕЙН

## НЕ МОЙ ПАРИЖ

Эссе

По средневековой улочке с поэтическим названием Розье\*, что в еврейском квартале Парижа, группа туристов из Германии с трудом протискивалась за гидом.

К концу дня на тротуары и мостовые здесь выплескивается пёстрая, разноязычая толпа. Люди, перебивая друг друга, одновременно говорят, спорят, смеются, прислушиваются к отчаянным сигналам едва ползущих автомобилей и к ценам, которые выкрикивают продавцы самой дешёвой еды – фалафель. В предвечерьи улицы квартала кажутся ущельями, в которых плещутся людские реки, образуя на перекрёстках круговерть различных костюмов, причёсок, головных уборов и нередко кип, чёрных широкополых шляп и завитых пейс. Кое-где вдоль тротуаров стоят небольшие группы бритоголовых парней в чёрных рубашках. Они обвешаны цепями и множеством металлических нашлёпок на брюках и куртках. Завидев людей в чёрных широкополых шляпах, бритоголовые начинают бесноваться. Пальцы сжимаются в кулаки, а глаза наливаются кровью. Поигрывая мускулами, они становятся похожими на хищников, готовых броситься на добычу, но пока ограничиваются проклятиями, бросая их в толпу на языке любимых нами: Дюма, Золя и Ромена Ролана.

Вот такая публика тусуется в еврейском квартале Парижа.

\* \* \*

Книги и справочники, фотографии и карты стопками лежат на моём рабочем столе. Сколько же книг написано о Париже? О его величии, красоте, о его тайнах, о его жителях. А сколько художников на своих

---

\*Rue des Rosiers (франц.) – Улица роз.

полотнах увековечили парижан? Одни одухотворены своими целями и идеями, другие просто счастливы и благополучны, а третьи раздавлены жизнью и судьбой. И те, и другие сквозь время смотрят на нас со стен музеев мира.

И мне кажется, что я уже знаю о Париже всё: мне знакомы его дворцы, бульвары, площади. "Париж стоит мессы", "Увидеть Париж и умереть" – стали почти моими словами. А Французская революция "Свобода, равенство и братство". "Марсельеза" – я слышу её мелодию, я дышу пафосом этих звуков, этих слов, как и все французы. Ведь это их мироощущение, их образ мыслей, и я знаком с этими людьми: весёлыми, улыбающимися, доброжелательными.

\* \* \*

Автобус мчит нас в Париж по шоссе, пересекающему обширные виноградники востока Франции. Гид рассказывает об особенностях виноделия этого района и о неповторимом букете местных вин. Я почти физически ощущаю вкус и аромат "Бужеле Видляж", "Мерло", "Бургундского", хотя никогда их не пил.

Но вдруг резкий запах сваренных вкрутую куриных яиц и хруст огурцов на зубах моих спутниц вернул меня к действительности. Совершенно реальный запах яичных желтков мгновенно убил виртуальный аромат элитных вин.

Две пожилые женщины, сидящие впереди меня, одетые так словно только вчера прилетели рейсом Астана – Берлин, по-хозяйски разложили на полотенце куски вареной курицы, яйца, огурцы и толстые ломти хлеба. Дамы были удивительно похожи друг на друга. Обе полные, ширококостные, с крестьянскими лицами и постоянной скукой в глазах. У обеих завивки, а редкие серые кудряшки забраны одинаковыми пластмассовыми обручами. Они не смотрели в окна, не задавали вопросов гида и почти не выходили на остановках. Когда дамы не обгладывали куриные косточки, они дремали, тихо похоранивая, или лениво перебрасывались словами.

\*\*\*

Наконец Париж. Экскурсии в музеи, дворцы, прогулки по Сене, бульварам, еврейскому кварталу.

Еврейский квартал Парижа. Сочетание этих слов для меня необычно, и вовсе не в фонетическом звучании, а скорее в смысловом их значении. Тем не менее, первый еврейский "десант" высадился в центре Парижа — квартале Марэ ещё в тринадцатом веке. В последующие века почти с периодичностью морской волны ненависти то обрушивались на их судьбы, жизни, жилища, то сменялись терпимостью к их обычаям, религии, философии. В девятнадцатом веке очередная волна эмиграции привела в Париж евреев-ашкенази из восточной Европы.

В начале двенадцатого века архитектор Нектор Гимар на улице Пафи построил синагогу в стиле модерна. Он расположил её в глубине квартала значительно отступив от "красной линии", чтобы чужакам не бросалась в глаза. Здесь строились дома как небольшие крепости, с очень крепкими воротами и вторым выходом на соседнюю улицу. Евреи знали, что пути Господни неисповедимы и в любой момент может наступить время, когда запасной выход может спасти им жизнь. Но в сороковые годы XX века ни крепкие ворота, ни запасные выходы не спасли 76 тыс. евреев Франции от уничтожения.

Это случилось в страшное время Холокоста.

\*\*\*

В шестнадцатом веке король Франции Людовик XIII, формируя личную охрану — роту мушкетёров из дворян, не мог знать, что один из потомков этих благородных и отважных людей — господин Даркье де Пеленуа, он же соратник руководителя СС в Париже Оберга 16 июля 1942 станет инициатором и руководителем облавы на парижских евреев. А французские полицейские, потомки революционеров, сражавшихся на баррикадах в 1879 году, ударами прикладов будут подгонять 15000 французов еврейского происхождения, в основном стариков, женщин и детей, на Парижский велодром. Трое суток эти несчастные проведут там без

воды и пищи, а затем, оставшихся в живых, будут депортированы в лагеря смерти.

Но французов не мучает совесть. Великий итальянец Маччияни и американский астронавт Амстронг, посещая ресторан Гольденберга, что на улице Розье, не могли предположить, что через 37 лет после Холокоста потомки французов, провозгласивших свободу, равенство и братство, 9 августа 1982 года с проезжающего мотоцикла откроют огонь по посетителям и убьют шесть человек.

Через 57 лет после Холокоста потомки благородных мушкетёров и героев революции протаранят грузовиком двери синагоги Брав – Ехида в Лионе, а в его пригороде расправятся с молодой еврейской парой. В Гулузе обстреляют кошерную мясную лавку.

В Страсбурге попытаются поджечь синагогу. В Марселе сожгут дотла синагогу Ор – Авив. В городе Обервиле сожгут автобус еврейской школы, а в Монпелье бросят несколько бутылок с зажигательной смесью в еврейский храм.

700 тысячная еврейская община протестует. Правительство бездействует.

Пять миллионов мусульман торжествуют.

\* \* \*

Наша группа туристов стояла на перекрёстке улиц еврейского квартала. Во время экскурсии к нам присоединился седой, пожилой человек с неулыбчивым лицом. На нём хорошо сидел костюм, а бабочка бордового цвета и манжеты белой сорочки, выглядывающие из рукавов пиджака, придавали ему элегантность. Весь его облик не вписывался в мешанину одежд проплывающей мимо толпы. Он казался из другого мира. Человек в бабочке слушал гида, наклонив голову к плечу, глаза его теплели, а губы едва заметно улыбались. Мне показалось, что он прислушивается только к мелодике русской речи, а мысли уносятся в прошлое.

Мои соседки по автобусу не прислушивались ни к пояснениям гида, ни к мелодике русской речи.

– Катрин, чё вылупилась на мужика? Глянь сюды, вон те, с барабульками на ушах, в чёрных шляпах, ить

евреи!? Сказывала Машка, – она поперхнулась от злого взгляда подружки, – я и говорю, Матильда сказывала: она под шляпами деньги посять, ить евреи богатющие.

– Брешешь ты и твоя Матильда! – ответила Катрин. – Откудова ей знать, нешто у нас в районе евреи водились?

Человек в бабочке быстрыми шагами подошёл к ним вплотную и на чистейшем русском языке суфлёрским шёпотом сказал: «Любезные дамы, простите, что перебиваю, но смею вас заверить: под чёрными шляпами эти люди не прячут деньги. Под этими шляпами много печали, много терпения, мудрости и много ума, чего вам не хватает. Сожалею». Он резко повернулся и исчез в толпе.

\* \* \*

За окнами автобуса темно. Приглушен свет в салоне. Мы возвращаемся в Берлин. Усталые туристы спят. А мне не спится: я вижу розовый флёр цветущих магнолий вокруг Нотр-Дам, великолепие Лувра и Версаля, задумчивость Сены, ночное свечение Эйфелевой башни, кривые улочки Монмартра и бесчисленные картины, выставленные на тротуарах. Об этом, наверное, уже писали и не раз, но мне доставляет удовольствие этими же словами излагать свои мысли. В их звучании я слышу сладкую горечь своих разочарований. Париж прекрасен во всех своих ипостасях. Но свобода, равенство и братство... не больше чем заблужденная романтика. И ещё мне вспомнилось скульптурное изображение огромной с ладонью у уха человеческой головы, лежащей на газоне в одном из уголков парка на месте бывшего «Чрева Парижа».

Что слышит это ухо?

Цокот копыт лошадей мушкетёров, грохот падающих башен Бастилии, тупой стук гильотины о шею приговорённых.

А может быть, шорох подошв 15 тысяч евреев, идущих к смерти, или стоны умирающих в ресторане Гольденберга.

А может быть, оно уже слышит приближение сле-

дующей катастрофы?..

\* \* \*

Через 57 лет после Холокоста на средневековой улочке с поэтическим названием Розье, что в еврейском квартале Парижа, Броуново движение людского водоворота закручивает в один жизненный узел белых, чёрных и жёлтых, тем не менее, здесь же опять вызревает неприязнь, презрение и ненависть к французским гражданам еврейского происхождения.

С грустью я покидал Париж. Он не оправдал моих ожиданий.

НОВЫЕ ПЕРВОУ

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

МАРК БЕЛОРУСЕЦ

ДМИТРИЙ ЛЯХОВИЦКИЙ

РАИСА ФИЛИШОВА

ВЕНИАМИН ШАЛУМОВ

ДАВИД ЯНОВСКИЙ

# ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ

Переводы посвящаются светлой памяти поэтов  
ДАВИДА ГОФШТЕЙНА и ПЕРЕЦА МАРКИША,  
расстрелянных 12 августа 1952 г. по делу  
Еврейского антифашистского комитета

## НАЧАЛО

(из Д. Гофштейна)

Нить моей жизни начало берёт,  
тянется стеблем зелёным,  
там, где к земле наклонён небосвод,  
словно он замороженный.

Эта зелёная лёгкая нить  
стала меня во вселенной кружить.

Годы проходят своей чередой,  
мчат за минутой минуту.  
Нить моей жизни качает волной  
в двадцать четыре фута.

Я верю, что это пока не финал,  
и крепко впиваюсь в жизни штурвал.

Счастлив, что всё же сумел сохранить  
под столь беспокойным кровом  
я вдохновенную лёгкую нить –  
жизни своей основу.

Прялка мне новую нитку прядёт  
и обещает новый восход.

## ВДОХНОВЕНИЕ

(из Д. Гофштейна)

Никогда наудачу  
я стремглав не летел за тобой.  
Ты мне так однозначно  
предназначено было судьбой.

Ты врывалось, как утром  
в горло свежего ветра глоток.  
Ты шептало мне мудро:  
«Оглянись и запомни, дружок,

как тяжёл, но прекрасен,  
вдохновенен и радостен труд.  
И грядущего массы  
за него нам хвалу воздадут.

Их сердца отогреет  
то, что мы создаем сейчас,  
где восходом алеет  
каждый миг, каждый день, каждый час.

Время не за горами –  
песнь поэта всюду зазвучит.  
Сам увидишь: с годами  
станет твёрже она, чем гранит».

### МОЯ ТОСКА ( из П. Маркиша )

В наш дом ужом вползает ночь  
и вместе с ней тоска.  
Её бы я прогнать не прочь  
с окошка косяка.  
И вот на улице темно.  
В квартире тишина.  
Как призрак, серое пятно  
хлопочет у окна.

Снимаю обувь у двери,  
чтоб скрип от каблука  
до самой утренней зари  
не слышала тоска.  
Я в голове слова вяжу:  
«Тоска, ты не взыщи,  
я не поддамся шантажу,  
меня здесь не ищи».  
Я в одеяло завернусь.  
Вдавлю себя в кровать.

Теперь меня разыщет пусть,  
я постараюсь спать.  
Но как настойчива тоска –  
она моя напасть.  
Коснулась моего виска  
и в душу забралась.  
Она к артериям ползёт  
и жадно кровь мою сосёт.  
О, как она крепка.  
«Мне скуку на душу не лей,  
я требую, окоченной,  
уймись, моя тоска!»

СНЕГ ИДЁТ...  
(из Д. Гофштейна)

Снег идёт...Бесконечный настойчивый снег.  
Он стремится себе обеспечить ночлег.

Снег идёт...Я грущу у окна и мечтаю,  
как его приструнить, изменить его бег.  
Как просторы земли без конца и без края  
мне в стихи заключить, чтоб украсил их снег...  
Те, что дороги мне и страдаю по ком я,  
постепенно уходят неизвестно куда,  
тяжело спотыкаясь о снежные комья,  
рассыпаются в прах, не оставив следа...

Снег идёт и идёт, и не видно конца.  
Я представить хочу их большие сердца...

Я гляжу с восхищением на книжные связки  
так, как в детстве глядел своей маме в глаза.  
Книги разум питают и дарят подсказки,  
Поучают, что надо в стихах рассказать...

Снег идёт...Бесконечный настойчивый снег.  
Он стремится себе обеспечить ночлег...

Знаю, вроде недавно случилось всё это.  
Небом солнечным залит Италии взгляд.  
И вздохнуло глубоким дыханием лето,  
только трупы несчастных на ветках горят...

Дай нам Бог, чтобы всё было неповторимо,  
чтобы кануло в бездну далёких времён,  
унеслось в поднебесье с остатками дыма,  
растворилось, как тяжкий навязчивый сон...  
Снег идёт и идёт, и не видно конца.  
И на памяти нет ни имён, ни лица...

Сын мой мне доверяет, я знаю об этом.  
В том, что солнце – гигантский маяк для земли,  
что мы мчимся в галактике новой кометой,  
как по водным пространствам спешат корабли.  
Письма шлёт мне из Киева с рядом вопросов,  
кругозор их достаточен и многолик.  
Просит в знаний копилку прибавить он взносы  
(любопытство мальчишек нас ставит в тупик)...  
Сообщить о широтах и меридианах,  
плоскогорьях, равнинах и пиках высот,  
о вулканах и дальних заброшенных странах...

Снег идёт...Снег идёт...Снег идёт...Снег идёт...

### ЗАКАТ (из Переца Маркиша)

Желанья унеслись неведомо куда.  
Вечерний ветер провалился в кроны.  
Луне настала прогуляться череда.  
Гладь сумерек туманна и бездонна.  
Как хочется найти себе причал.  
Уйти от всех. Забыться в полудрёме,  
чтобы вопросами никто не докучал.  
Удобно стало, как в отцовском доме.

### МНЕ СНИЛАСЬ МАМА (из Переца Маркиша)

Качается состав. Рассвет уже забрезжил.  
Скорей увидеть бы желанный свой перрон.  
Всю ночь меня вагон стуча баюкал, нежил,  
и встречу с мамой мне принёс глубокий сон.

Вот за окном плывёт гусей крикливых стая.  
Наверно, гогот их прервал счастливый сон.  
И замерли они, вагоны пропуская.  
В ушах остался лишь сигналов перезвон.

Я много вёрст прошёл. Менялась панорама.  
В судьбе моих дорог – победы и излом.  
Мне снилось - я в Москве. Идёт из кухни мама.  
В её руках поднос и кихалах на нём...

Она в мои глаза внимательно взглянула,  
заметив перемен неукротимый шквал...  
Сон улетучился. И с нарастающим гулом  
Вдруг дёрнуло состав...  
И за окном вокзал.

*(переводы с идиши)*

# МАРК БЕЛОРУСЕЦ

Из Герты Мюллер

## ПРОСТО РАСТЁТ ЛЕТОМ ДРЕВЕСИНА

Нынешнее лето неустойчиво. Куда оно уходит,  
когда влачит за собой в полдень  
склизкий след, как непутящие колёса.

Как долго держится роса. За забором ирисы. Не  
мои, Раскинулись своим цветением  
по саду.

В листве сидит старик. Пока ему чудилось, будто  
сквозь цветы прорываются сучья,  
он уже заснул.

Как это идти в утренних сумерках. Здесь не парк.  
Просто растёт летом древесина.

Газеты красного цвета. Между мной и газетами  
руки. На каждой строчке, чтоб понять,  
нужно братья за голову.

Кого спросить мне, когда и что сказал мой рот.  
Кто ответит, где по ночам и дням я  
пропадаю. Нет здесь места, одно местожительство.

Скрываю, докуда доходят мои волосы. На пальцах  
ногти отрастают, будто у них под  
краями моя жизнь.

Это как ножницы, когда друзья глядят на меня и  
желают мне добра.

Но я себе приберегла, есть у меня одно слово. Для  
разговора не тема. Речь вести не  
стоит. Губами чтоб не пошевелишь.

Это было под вечер. Мне стало смешно. Захотелось  
спросить у стекла в открытом окне,  
не состарился ли в миг мой рот. Именно в этот миг.

Устало я смела в ладони дёрганье со шёк.

Даёт ли город в окне основание утверждать, что я  
здесь жила. Какая страна имеет  
довольно места, чтоб отразиться в оконном стекле.

Пока что – говорит трава. На обочине зелено.

Сколько – спрашивается – быть республике локтем президента.

Плывёт и меняется облако.

В утренних сумерках идти через парк. Что там за рабочий. Что там за парк.

А та женщина в стороне. Раньше у неё был ребёнок. Много прошло лет, как он из растительности потянулся в город. Теперь ребёнок двадцатью годами старше. Он, когда пишет письма маленькой крестьянке среди больших полей, понимает, как, отступаясь в кукурузе, мотыжат через жизнь.

В письмах значится: ты не должна так надрываться.

Когда я покупаю цветы. Они на прилавках лежат без корней. Выбираю самые красивые.

Земля, откуда они растут, больше меня не касается.

Вспоминаю тогда лишь о саде, когда неспешно, будто платок, опускаю лицо, чтобы услышать запах.

Найти бы для своего тела работу, но чтобы вначале идти через парк утром в сумерках.

А ещё профессию для головы.

Скоро мне из этого мира высунуться вовне.

Я слышу, через настенные часы, едет лифт. Он громыхает, если едет пустой. Друзья приходят. Иногда под настроение, иногда невпопад.

Лифт не останавливается.

Чего хочет время. Я слушаю его и знаю, что ни для кого из моих друзей нет в нём будущего.

Сиди тихо, раз все молчат - говорю я.

Отведи взгляд, нет её, смерти. Это зной стучит в висках.

Пусть – говорю – когда зной заволакивает мне год за годом. Пусть – говорю – когда мой язык мотыжит во рту.

Гляди – говорю. Умирать – последнее, что мы делаем.

Как эта держава дурит нам руки. Видишь между нами следы. Это не мы.

Сиди тихо – говорю.

Я слышу, через стены комнаты, лифт едет в небо.

## ПОСРЕДИ ЛЕТА

От края леса идёт по полю зелёный человек.  
Затылок у него наголо острижен.

У зелёного человека за спиной зелёный рюкзак. Из  
рюкзака выглядывает заячья голова.

Возле ушей, застыв, чернеет прилипшая кровь.

У зелёного человека на голове зелёная шляпа.

Вокруг тульи шёлковая лента, за ней  
здельвейс и перо.

Перо ошалелой курицы.

Оно не шелохнётся, будто посреди лета у ошалелой  
курицы в лесных зарослях или  
на ровном поле уже не было времени, чтобы  
вскрикнуть.

## ЯЩЕРКА

*Спина отдана голой на  
произвол дикости.*

Элиас Канетти

Листья веяли в неверном свете, будто за их спинами  
с тонкими прожилками смерть  
не впибалась черно и беззвучно в черенки.

Деревья издавали звук.

Но молодая женщина, шедшая под деревьями по  
асфальту, шла, словно полагая, что  
идёт в тишине.

Походка выдавала, что она размышляла на ходу.

Если бы каблук туфели не были такими твёрдыми  
под её пятками, она пошла бы  
голой, белея икрами, по бликам от фонарей.

Если бы она не оглянулась неожиданно, на миг, не  
упали бы ей на лоб волосы.

Если бы мужчина позади с чёрными, как закрытый  
гроб, штанинами не увидел её  
уха, приросшего ниже кромки волос, не приблизился

бы он к её спине.

Если бы она не всматривалась в его сведённую судорогой плоть всем лицом между корнями ногтей большой руки, не проскользнула бы к ней в живот страсть, как ящерка под камень, наутро ещё со вчера и с вечера уже на завтра. Тогда под спинами листьев с тонкими прожилками однажды в тёмнозелёный тесный день проплыл бы мимо, без неё, закрытый и пустой гроб.

И не затронул её спины.

## ХОЛОДНЫЕ УТЮГИ

Маленький серый человек идёт по краю парка.  
Поверху среди деревьев.

Маленький серый человек носит два твёрдых ботинка, будто два холодных утюга.

Маленький серый человек ведёт на прогулку испуганный шиджак, порожного пса и две бутылки молока.

Маленький серый человек останавливается между высоких деревьев. Он слушает.

Ветер выдвигает крышку его черепа.

Ветер задвигает крышку его черепа.

Ветер выдвигает и задвигает крышку его черепа.

*(С немецкого)*

# ДМИТРИЙ ЛЯХОВИЦКИЙ

Из Жоржа Брассанса

## ПЕСНЯ ДЛЯ ОВЕРНЕЦА

Овернец! Тебе моя песня как  
"Спасибо" за то, что просто так  
Ты мне четыре полена дал,  
Когда жизнь мою холод объял.

Ты лишь один мне подал огня,  
Когда даже сброд прочь прогнал меня,  
А весь этот благонамеренный мир  
Перед носом моим дверь закрыл.

Это ничто – тех поленьев тепло.  
Но оно лишь мне тело согреть помогло,  
И в душе до сих пор тот огонь не померк,  
А горит, как большой фейерверк.

Друг мой Овернец! Когда умрёшь  
И в руки Господа попадёшь,  
Да дарует тебе он вечную жизнь  
За твою доброту! Аминь!

Хозяйка! Тебе моя песня как  
"Спасибо" за то, что просто так  
Ты в руку мне сунула хлеба: "Держи!",  
Когда голод терзал мою жизнь.

Ты для меня ларь открыла свой,  
Когда мир почтенный, как сброд простой,  
Подлюю радость, увы, не скрывал,  
Видя, как я голодал.

Те хлебцы без веса в ладонь легли,  
Но они лишь мне тело согреть помогли,  
И хранит их тепло души моей мир,  
Как самый торжественный пир.

Добрая женщина, в час как умрёшь  
И в руки Господа попадёшь,  
Да дарует тебе он вечную жизнь  
За твою доброту! Аминь!

Тебе эта песнь, незнакомец, моя  
Как память о дне, когда схвачен был я,  
А ты мне улыбку послать сумел,  
Хоть от страха и сам онемел.

Ты лишь в ладони не бил, когда  
Благонамеренные господа  
С нищими вместе смеялись окрест,  
Мой несправедливый видя арест.

Это ничто – улыбка одна,  
Но она лишь мне тело согреть помогла,  
И доныне её сохраняет душа  
Как сверкающий солнечный шар.

О, незнакомец, когда ты умрёшь  
И в руки Господа попадёшь,  
Да дарует тебе он вечную жизнь  
За твою доброту! Аминь.

*(С французского)*

# РАИСА ФИЛИППОВА

Из Франсуа-Армана Сюлли-Прюдома

\* \* \*

О, знали б вы,  
Как одиноко,  
Как грустно мне без ваших глаз,  
Вы у моих прошли бы окон  
Хотя бы раз.

О, знали б вы,  
Что не случайно  
Ваш чистый взгляд ловлю давно,  
Взглянули б вы, хоть раз, нечаянно,  
В мое окно.

О, знали б вы,  
Моя любимая,  
Что вы и в грёзах и во сне.  
Тогда вы, просто, гуляя мимо,  
Зашли б ко мне.

*(С французского)*

Из Детлева фон Лилиенкрона

## ДВОЕ УМИРАЮЩИХ

Имея верных слуг, богач один  
Прожил свой век в довольстве и достатке,  
Сам Бог себе, ни в чём не знал нехватки,  
Ливрен не носил, себе был господин.

Другой в поту трудился до седин  
Всегда в хвосте плелись его лошадки,  
В борьбе с судьбой проигрывал он схватки,  
Взамен вина имел воды кувшини.

Явилась смерть. Издав последний вздох,  
Один изрек. «Коль призывает Бог,  
Рад умереть, врага открылись рая!»

Другой вскричал, лишь мертвая волна  
Прочь понесла «Хлебнул я бед сполна,  
Не жажду я Эдема, умирая!»

*(С немецкого)*

Из Рикарды Хух

### СОНЕТ

Пьяны любовью юной, мы бродили  
Кладбищенской заросшею тропею,  
Где плющ опутал старых елей хвоею,  
Среди ушедших, что когда-то жили.

Под тенью ив, желанием томимы,  
Брели в тиши сердца так громко бились.  
Шатром деревья гибкие склонились.  
В святых местах хмельной покой нашли мы.

Безумство кончилось. Очнулись мы.  
Кресты отцов, обвитые травой,  
Увидели в заброшенном мы месте.

Как хороши, как сладки были сны!  
Придёт черёд, здесь обретём покой.  
Останемся вдвоём мы, снова, но не вместе.

*(С немецкого)*

Из Генриха Гейне

\* \* \*

Моим страданьям нет конца.  
Но чем сильнее муки,  
Тем громче песен грустных звуки,  
Что птицами летят в сердца.

Расскажут о моих печалях,  
Найдут дорогу к вам опять,  
Увы, не смогут рассказать,  
Что в вашем сердце повстречали.

Однажды юноша влюбился,  
Она другого предпочла,  
Но на подруге тот женился,  
Так обернулись дела.

А девушка не растерялась,  
И замуж вышла всем назло.  
Что ей бедняжке оставалось?  
Пусть думают, что повезло.

Мы обнаруживаем вдруг:  
В цепочке длинной нет конца,  
И заколдован этот круг.  
Так разбиваются сердца.

*(С немецкого)*

Из Георга Тракля  
СИЯЮЩАЯ ОСЕНЬ

Красиво умирает год,  
Златясь вином, плодами сада.  
В молчаньи леса, в грусти вод  
Есть одиночеству услада.

Сказал крестьянин: «Красота!»  
Шлет стая птиц привет с дороги.  
Вечерних звуков доброта  
Уносит прочь мои тревоги.  
Вот челн плывет вниз по реке,  
Пора любви и чувств неясных.  
И в тишине, что вдалеке  
Картина осени прекрасной.

РОНДО

Осенних дней померкло злато,  
Цвета унынья и печали,  
Рожки пастушки замолчали,  
Цвета унынья и печали,  
Осенних дней померкло злато.

## ОСЕНЬЮ

На солнце греться вышли старики,  
Подсолнух осветил окно,  
Поют крестьянки у реки,  
Колокола звонят давно.

На праздник птицы всех зовут,  
Колокола звонят давно,  
И скрипки нежные поют,  
Здесь давят терпкое вино.

Повсюду раздается смех,  
Здесь давят терпкое вино,  
Сегодня праздник здесь для всех,  
Луч солнца залетел в окно.

*(С немецкого)*

# ВЕНИАМИН ШАЛУМОВ

Из Теодора Шторма

## НАЧАЛО КОНЦА

Почти не боль, всего один лишь миг,  
Шальной испуг, так быстро проходящий;  
Но, всё же, в душу тёмный страх проник  
И беспокоит жизнь твою всё чаще.

Так хочется посетовать друзьям,  
Но чувства трудно высказать словами.  
«Всё пустяки!» – себе твердишь ты сам,  
Но, всё же, страх сидит в тебе упрямо.

Ты чувствуешь: весь мир тебе чужой,  
Последние надежды тихо меркнут,  
И вдруг ты понимаешь, что стрелой  
Тебя уже пронзил посланник смерти.

## МАЙ

Уж все фиалки оборвали детки,  
Все, все, что возле мельницы цвели.  
Весна пришла; её сжимают крепко  
В своих ручонках маленьких они.

## ПЕСНЬ ДЕВУШКИ, ИГРАЮЩЕЙ НА АРФЕ

Сегодня, сегодня  
Так я мила;  
Настанет, ах, завтра –  
И юность ушла!  
Только сегодня  
Ты ещё мой;  
Ах, умереть мне  
Придётся одной.

## ЗЕЛЁНЫЙ ЛИСТОЧЕК

Бродя в лесу, в один из летних дней,  
Я подобрал молоденький листочек.  
Быть может он зимой расскажет мне,  
Как звонко заливался соловей,  
Как зелен лес был, что люблю я очень.

Николаус Ленау

## ЗИМНЯЯ НОЧЬ

И воздух стынет в эти холода,  
В хрустящий снег следы мои ложатся,  
Пар изо рта, в сосульках борода:  
Но дальше, нужно дальше продвигаться!  
Как тишина величественна здесь!  
Луна макушки елей озаряет,  
Весь в ожидании смерти, старый лес  
К земле покорно ветви наклоняет.  
Мороз! Ты если мог бы остудить  
Весь пыл, всю страсть души моей мятежной  
Чтоб наконец покой мне ощутить,  
Как эти нивы ночью снежной.

Фридрих Гебель

## ЭТОТ ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Прекрасный день, я лучшего не знаю!  
Природа замерла, едва дыша.  
И то и дело, с дерева спадают  
Чудесные плоды, слегка шурша.  
О, не мешайте празднику природы!  
Она себе готовит урожай:  
Луч солнца разлучает ветку с плодом,  
Проскальзывая лезвием ножа.

(С немецкого)

# ДАВИД ЯНОВСКИЙ

Из П. Цыбульского

## В МАЙДАНЕКЕ

Жестяные мятые миски  
с шелудивым серым налётом,  
свидетели унижения  
и гибели многих людей,  
о чём напомнить мне хочет  
ваше гнойное дно?  
Кого успокоить может  
то, что каждый кусок,  
который съедаю я дома  
из фарфоровой чистой тарелки,  
у меня застревает в горле?  
И разве вас возвеличили,  
если во всех церквях  
сорву я венцы терновые  
и повешу, как символ позора,  
ореолы жестяных мисок  
на головы всех святых,  
за то, что они не услышали  
ваш отчаянный крик.

## СЛОВА

Где найду я  
настоящие слова,  
скрытые в суете недель  
как ростки под мшистыми камнями?  
Я до крови изранил руки,  
разрывая источник засыпанный  
исчезающей речи идиш,  
которая ищет спасения  
в дыхании каждого слова.

1939 г.

Ты в памяти моей стоишь, отец,  
на перепутьи рвущихся миров.  
В тревожном сумраке вечернего вокзала.  
С надеждою спросил ты своего,  
такого образованного сына:  
«Сынок, скажи мне, будет ли война?» –  
«Конечно, нет, народы это зло  
в зародыше задушат». – Я ответил.  
Поцеловав твоё усталое лицо,  
твои печальные библейские глаза,  
твой сын ушёл.  
Ушёл я навсегда,  
ответ правдивый  
унося в груди.

## ШТРИХ К ПОРТРЕТУ МОЕЙ МАТЕРИ

На лбу,  
где отец привязывал,  
как виноградные плети,  
молитвенные ремни,  
мамочка, был у тебя  
шрам, как укус змеиный.  
Шрам этот был от камня,  
который какой-то верующий  
бросил в тебя со злобой –  
за распятие их спасителя,  
за то, что у нас была лавка,  
с парой мешков овса,  
с пучками душистого сена,  
за очи миндалевидные,  
у святого семейства украденные.  
Через две тысячи лет  
нашли, наконец, безгрешного,  
который бросил тот камень,  
от которого спас Христос  
грешницу Магдалину.

Вижу я этот шрам  
в дыме печей Треблинки,  
их распалили те,  
кто носят кресты зменные,  
вижу, как ты улетаешь  
в распахнутое окно  
безоблачно-синего неба.

*(сидиши)*

Из Маши Калеко

### КАДШИИ

На нивах Польши – маков краснѳй крик,  
И караулѳт смерть в лесах под чѳрным небом.

Гниют снопы в полях,  
Все пахарѳи – в гробах,  
И матери в слезах,  
И дети просят хлеба.

Лишившись гнѳзд, все птицы замолчали,  
Леса над Вислою склонились в печали,  
И ветви их раскачиваться стали,  
Как бородатые евреи на молитве.  
Поют псалмы, о милости моля,  
Напившись крови, содрогается земля,  
И камни плачут.

Кто будет дуть теперь в шофар победнѳй  
Для тех, кто спит навек здесь под травою бледной,  
Для сотен тысяч тех, когда-то сильных,  
Чѳьих нет имѳен на плитах надмогильных.  
Их перечислить всех лишь Богу по плечу,  
Будь в Книге жизни счѳт налажен строже.  
Мольбу деревьев ты услышь, о Боже!  
Сегодня мы зажжѳм прощальную свечу.

## ПОД ЧУЖОЙ КРЫШЕЙ

Лежу под чужою крышей...  
Стучит то громче, то тише  
Дождь...Дождь...Дождь...  
Ночью ты мне не даёшь  
Уснуть под чужою крышей.  
Помню я: шум дождя  
Слушать мне довелось  
В фонтанах моей отчизны  
Сквозь пряди мокрых волос.  
В далёкие те года  
Шумел он сквозь пенье берёзы.  
Теперь не шумит никогда  
Он про речные плёсы,  
Теперь он шумит всегда,  
Напоминая про слёзы.  
Дождь...Дождь...Дождь...  
Ты над чужою крышей  
Слишком долго идёшь,  
Слишком долго тебя я слышу.

## КАНАТОХОДЕЦ БЕЗ СЕТКИ

Вся жизнь моя – скольжение по канату.  
На прочных двух столбах висел канат всегда,  
Но рухнули опоры. Мост горбатый  
Торчит над бездною дорогой в никуда.  
Но я танцую и сдаваться не желаю:  
Так я привыкла, да и гордость не даёт.  
Внизу толпа восторженно вздыхает,  
Но, слава Богу, я гляжу вперёд.

## КРАТКИЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Что от меня останется на свете?  
– Один ребёнок и три тонких книги.  
Что сверх того – не стоит даже фиги.  
Я говорю, но слышит только ветер.

Отлично понимаем мы друг друга  
Я с ветром. И ему немало лет  
Я верю как себе. Он знает дело туго.  
Он много повидал, он знает свет.

А под конец любой из нас готов  
Поведать ни о чём, потратив уйму слов;  
И даже трус отважится изречь их,  
Молчанье ж хорошо звучит на всех наречьях.

### ПОСТСКРИПТУМ

Я получила длинное письмо.  
Мой старый адвокат писал мне, как всегда,  
по-деловому, обстоятельно, разумно.  
В конце – «Вам преданный...»

Я чуть не пропустила  
постскриптум:  
«Так как жизнь моя  
склоняется к закату и ночами  
биенье сердца начал заглушать  
тот грозный ангел шумом чёрных крыл,  
мне Вам, достойнейшая, хочется сказать,  
что тридцать лет я тайно вас любил.  
Теперь нас разделяет океан.  
Но жду я, что придёт ещё письмо,  
нет, не любовное, но всё же – мотылёк,  
который в жизнь мою,  
обтянутую скукой документов,  
впорхнёт».

### MEMENTO MORI\*

Я смерти собственной несколько не боюсь,  
Боюсь, исчезнут близкие мне люди.  
Как буду жить я, если их не будет?

Пройду в тумане я смертельный шлюз,  
Охотно буду в темноте скитаться.  
Уйти намного легче, чем остаться.

---

\*Memento mori (лат.) – помни о смерти

Тот знает, с кем подобное случилось;  
Кто это пережил, тот сможет мне простить.  
Пойми: умрёшь – и всё. Какая малость!  
А после смерти близких – надо жить.

### ПРИГЛАШЕНИЕ

Приходи ко мне на чашку чая!  
Я достала английские кексы  
И пугу из Перуджини.  
Мы красные свечи зажжём, как когда-то  
В старом подсвечнике кованого железа.  
Есть у меня Шамбертен хорошего года.  
Мы выпьем его на террасе  
Во время заката,  
Если будет хорошей погода.

Приходи! Мы поставим твои  
Любимейшие пластинки:  
Вивальди, Сан-Луи-блюз  
и Песнь о земле.

Мы будем с тобой удивляться,  
Что дождь постоянно идёт  
На гравюрах у Хиросиге...  
Метровые пряди струятся  
На тихо хрустящих ширмах  
Из плотной японской бумаги.

Или как журавли клином летят домой,  
И вишни цветут в саду белым и розовым цветом  
Под свежевывытым блюдцем полупрозрачной луны  
На тончайшем китайском фарфоре.

Мы помолчим. И более друг с другом  
Не будем спорить мы –  
Пусть будет всё, как будет.  
И о любви не будем говорить  
С тобою мы, как в том далёком мае.

Всё проходит... Проходит, любимый!  
Приходи же на чашку чая!

Да, пока не забыла,  
Запомни мой новый адрес:

Я живу у обрыва слёз,  
Улица Отчаяния, семь,  
Недалеко от реки.

Во всяком случае, садись в ночной автобус  
И выйди на конечной остановке.

## ИНТЕРВЬЮ С САМОЙ СОБОЙ С ПОСТСКРИПТУМОМ В ТРИДЦАТЬ ВТОРОМ

В семействе эмигрантов я родилась  
В набитом сплетнями убогом городишке.  
В нём маленькая церковь находилась  
И сумасшедший дом, большой, и даже слишком.

Любимым словом в детстве было «нет»,  
Для мамы счастьем я, увы, не оказалась,  
И если б мне открылся вдруг секрет  
Своей стать мамой – я бы отказалась.

Во время первой мировой пошла я в приходскую  
Восьмую школу. Ректор Май был наш кумир.  
Мне было шесть. Мечтала я, тоскуя,  
Что кончится война и будет мир.

Учителя сочли меня тотчас  
Талантливой, за что и исключили.  
Чему бы в высшей школе не учили,  
«Арийцев» сроду не было у нас.

При выпуске твердили педагоги  
Нам про устои, идеалы и добро,  
Что мы пойдём по жизненной дороге...  
Я, к сожалению, пошла служить в бюро.

Я получала жалкую зарплату,  
С восьми до четырёх трудилась каждый день,  
Стихи писала, засидевшись поздновато.  
Отец считал, что это дребедень.

В погожий день вояж я совершала  
Карандашом по пёстрой карте мира,  
А в непогоду, позабыв про лиру,  
Так называемого счастья ожидала.

## В СОРОК ПЯТОМ

Меж тем я путешествовала много  
На судне, поездом и через океан,  
Но не романтика гнала меня в дорогу  
И не любовь к открытию новых стран.  
Всё это было в прошлом. Так случилось.  
Промчалось время, закусивши удила,  
И жизнь моя во многом изменилась:  
Сама я сына-эмигранта родила.

Он слово alien\* учится писать,  
Мне «Don't speak German!»\*\* – заявляет это чудо.  
И в восемь лет стремится доказать,  
Что он alright\*, хоть он и не отсюда.

Ах, ректор Май, далёких лет кумир,  
Его я точно так же убеждала...  
Мой сын мечтает, как и я мечтала,  
Что кончится война и будет мир.

*(С немецкого)*

---

\*alien (элайн) – чужой (англ.)

\*\*don't speak German (донт спик джомен) – не говори по-немецки (англ.)

\*\*\*alright (олрайт) – в порядке (англ.)

## В ПОМЕРЕ

### ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Карл Абрагам .....	4
Леонид Бердичевский .....	11
Марлен Глинкин .....	18
Евгений Денисов .....	26
Елена Ещенко .....	27
Мальвина Зор .....	33
Маргарита Их .....	37
Яна Кутни .....	47
Семён Лурье .....	58
Станислав Львович .....	62
Генриетта Ляховицкая .....	68
Анжелла Подольская .....	72
Мина Полянская .....	84
Виктория Пугачевская .....	95
Любовь Рейнгач .....	99
Анна Сохрина .....	103
Леонид Сысолетин .....	108
Вера Федорова .....	109
Георгий Хлусевич .....	111
Альфред Ходорковский .....	124
Борис Черепашенен .....	129
Марк Шейнбаум .....	131
Ульяна Шереметьева .....	146
Генрих Шмеркин .....	148
Михаил Эненштейн .....	150
Владимир Ягман .....	156

### КРИТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА

Марлен Глинкин .....	160
Генриетта Ляховицкая .....	168
Самсон Мадиевский .....	170
Семен Панчешников .....	178
Альфред Ходорковский .....	184
Давид Шимановский .....	193
Михаил Эненштейн .....	198

### НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Леонид Бердичевский .....	205
Марк Белорусен .....	210
Дмитрий Ляховицкий .....	214
Раиса Филиппова .....	216
Венямин Шалумов .....	220
Давид Яновский .....	224